



В номере:

Критика

Елена Литинская. «**Но лампадой горит...**» 3
Сергей Скорый. **Нам дарит Степь...** 5

Проза

Георгий Какоров. **Дворник**..... 7
Иван Евсеенко. **Поющие пески**..... 11
Эльдар Бадырханов. **Месяц Марса** 29
Владислав Шаповалов. **Руки матери** 56

Переводы

Ион Прока. **Сосланные**..... 76

Поэзия

Ирис Варданян..... 87
Сергей Гора 89
Алексей Борычев 91

Дебют

Алина Маковей. **Авантюра в бокале**..... 93
Светлана Аксенте. **Родственные души**..... 99

Педагогика

Кристина Пынзарь. **Проблемное обучение** 101

Аллея классиков

Григоре Виеру. **Афоризмы** 103

Журнал «Наше поколение» основан в 1912 году.
Выпущено было 10 номеров. Выпуск возобновлен в 2009 году.

**Журнал «Наше поколение» готовится при творческом участии:
Союза писателей России
Московской городской организации Союза писателей России**

Учредитель

Козий Александра Петровна

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерством юстиции Республики Молдова №229 от 18 февраля 2009 г.

Редколлегия:

Главный редактор

Георгий КАЮРОВ

Редактор интернет-журнала

Виктор ХАНТЯ

Главный бухгалтер

Ольга ДОДУЛ

Редакционный совет номера

**Николай Переяслов, Михаил Попов, Владимир Силкин, Ольга Бедная, Анна Кашина,
Юрий Харламов, Сергей Власов, Алексей Дука, Виктор Хантя, Маргарита Сосницкая,
Матвей Левензон, Максим Замшев, Анна Малдофа, Надежда Дёмина, Иван Дуб,
Виталий Ткачев, Сергей Маслоброд, Валерий Реницэ, Игорь Хомечко.**

Литературный редактор

Вера ДИМИТРОВА

Корректор

Светлана БРОНСКИХ

Художник-иллюстратор

Эдуард МАЙДЕНБЕРГ

Фотограф

Валерий КОРЧМАРЬ, Юрий ГЕРАЩЕНКО

Дизайн

**Издательский Центр «Наследие», Александр Сава, Ольга Дерезинская,
Александр Зингалюк**

Вёрстка

Вячеслав ЗАДЗИК

Адрес редакции: Кишинев, ул. Пушкина, 22, оф. 317

E-mail: nashepokolenie@pisem.net

www.nashepokolenie.com

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Нашего поколения» запрещена.
Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не имеет возможности вступать
в переговоры и переписку по их поводу, а только извещает авторов о своём решении.

Елена ЛИТИНСКАЯ

Родилась в Москве. Окончила славянское отделение филологического факультета МГУ. Занималась поэтическим переводом с чешского. В 1979-м эмигрировала в США. В Нью-Йорке получила степень магистра по информатике и библиотечному делу. Проработала много лет в Бруклинской публичной библиотеке. Вернулась к поэзии в конце 80-х. Издала четыре книги стихов и прозы: «Монолог последнего снега» (1992), «В поисках себя» (2002), «На канале» (2008), «Сквозь временную отдаленность» (2011). Стихи, переводы, рассказы, очерки и статьи Елены можно найти в «Журнальном зале», периодических изданиях, сборниках и альманахах США, Европы и Канады. Живет в Нью-Йорке. Член редколлегии сетевого литературного журнала «Гостиная», президент Бруклинского клуба русских поэтов, а также вице-президент объединения русских литераторов Америки – ОРЛИТА.

Сергей Скорый. «Но лампадой горит...»

С поэзией Сергея Скорого я познакомилась по нескольким его публикациям в журнале «Гостиная». Я также смотрела живую трансляцию из Москвы «Вечерние стихи», в которой Скорый был одним из выступающих и выгодно отличался от некоторых молодых поэтов, стремившихся натушно представить так называемую поэзию XXI века. (А какой она должна быть, эта поэзия? Не вдаваясь в детали, я бы ответила кратко: она должна, прежде всего, оставаться поэзией, то есть нести гармонию и давать пищу для души, сердца и ума.)

Сергей Скорый – доктор исторических наук, профессор археологии. Живет в Киеве и постоянно разъезжает по Крыму, Молдавии, южной Украине и России, посещая исторические места и археологические раскопки. Естественно, научная деятельность, работа и «кочевая» жизнь Скорого нашли отражение в его творчестве. Его стихи, ясные, умные, насыщенные интересными образами, были созвучны моему поэтическому мышлению и видению, и когда вышла в свет книга Скорого «Но лампадой горит...» (Киев, Полтава: Дивосвіт, 2013), мне захотелось непременно ее прочитать и затем поделиться своими впечатлениями и размышлениями с другими.

Лирический герой книги «Но лампадой горит...» немолод, он путешествовал и много повидал, опытен в жизни и любви, высокообразован, самоироничен, добр, харизматичен и располагает к себе читателя. Книга многопланова, состоит из нескольких поэтических циклов, тематика которых соответствует их названиям: «Вы подарите флер духов...», «Здесь Крым дивит многообразием», «И Днепр гонит волн своих отары...», «Подснежник белый вспыхнет по весне...», «Отчего ж тогда светлый ангел мой», «Песни» и «Переводы из Бориса Мозолевого».

Хочу остановиться лишь на общих тенденциях тематики, эстетической позиции автора, особенностей его стиля и на отдельных стихах, которые сделаны рукой мастера.

Лучшие стихи цикла «Здесь Крым дивит много-

образием...» написаны строго, просто и чеканно, с восхищением и преклонением перед величием истории («Здесь эллинов следы и скифов хранят полынные поля», «Лежал в долине древний город, подмяв под голову века»).

*Шуршат, пролетая, будни
И в такт азовской волне –
«Sic transit Gloria mundi!»
На память приходит мне.*

Поэт с чувством благоговения приходит на могилы Юлии Друниной и Максимилиана Волошина, находя, казалось бы, скупые, но высокой простоты слова:

*Старый Крым. Середина июля.
На погосте – трава да кусты.
На могилу Друниной Юлии
Я несу полевые цветы.*

* * *

*Здесь давно – не тропа, а дорога:
Недостатка в поклонниках нет...
И почти на ладонях у Бога
Вечным сном почивает поэт.*

Сокрушаясь о быстротечности жизни, Скорый создает удивительно трогательный, печальный образ мальчика, уходящего за горизонт:

*Я не знаю, сколько проживу –
Есть секреты за семью замками...*

*А порой гляжу на склоне дня,
По тропе на алом небосводе
Мальчик, так похожий на меня,
Босиком за горизонт уходит...*

В ключевом стихотворении «Но... лампадой горит...» и некоторых других стихах рассматриваемого нами сборника Сергей Скорый декларирует трепетное отношение к русскому Слову:

*Но... лампадой горит
Во мне чистое русское слово –
С ним родился, живу,
С ним уйду я в мерцании звезд.*

* * *

*О, слово Пушкина и Блока –
Ты мой живительный родник!*

* * *

*Ведь с нами Бог! И с нами Слово!
А в слове – бесконечна жизнь!*

Любовно-лирический цикл книги называется «Вы подарите флер духов...» и включает в себя возвышенную, романтическую поэзию:

*Твои волосы – легкие птицы
Вновь взлетят над моей головой.*

* * *

*В долг больше лето не берем –
Пора и осени случиться...
Расстрелянные сентябрем,
О землю бьются листья-птицы
С дерев, чей вид столь грустен стал
В преддверье скорого ненастья...
И бродит по осколкам счастья
Любви логический финал...*

Лирический герой Скорого также предстает перед читателем в несколько другом амплуа: ироничного и самоироничного земного существа, мужчины, любовника, искателя приключений. Этот вариант лирики соответственно облекается поэтом в другую форму, более легкую, несколько заливчатую, но не менее мастерски выполненную:

*Локон светлый. Ткань воздушна.
Туфли-«шпильки» – высший шик.
Но ко мне ты равнодушна
Всеми фибрами души.*

* * *

*Во искупление грехов,
Не рассекреченных словами,
Вы подарили флёр духов
Всему написанному Вами.*

* * *

*Я, конечно, помолюсь и сам,
Но мои слова – немного стоят...
Вы, похоже, ближе к Небесам.*

* * *

*Земному мне – земное надо:
Не кормят басней соловья...
Живите в радости, отрада
Зеленоглазая моя!*

Стихи Сергея Скорого в большинстве своем написаны в строгой метрической манере ямбов, хорея и анапестов. Поэт не стремится к открытию новых форм, продолжая лучшие традиции классической русской поэзии девятнадцатого и двадцатого веков. Сила поэзии Скорого в духовности, мудрости и в отточенном, бережном обращении со словом. Нет ничего лишнего, орнаментального в созданных им образах. Каждый элемент на своем месте и несет смысловую и звуковую нагрузку. И благодаря поэтическому таланту Скорого и бережному обращению со стихотворными «орудиями производства» рождаются поразительные, трехмерно зримые картины:

И Днепр гонит волн своих отары...

* * *

*И облака, как лебеди, летели...
А на курганах скифских ковыли
О всех ушедших тихо шелестели.*

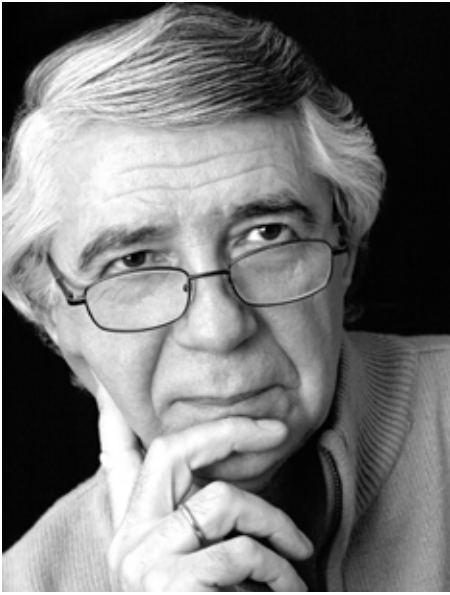
* * *

*И скользила ночь на тормозах,
И рассвет был этим ором смят...*

Книга Сергея Скорого «Но лампадой горит...» – это поэзия, построенная на гармоничном сочетании мысли, чувства и формы, и я горячо рекомендую ее любителям русской словесности.

Нью-Йорк, июнь 2013 года.

Сергей СКОРЫЙ



Автор четырёх поэтических сборников. Стихи, публицистика, проза издавались в журналах и альманахах Украины, России, США. Член Союза русских писателей Восточного Крыма, Союза русских украинских и белорусских писателей АР Крым. Археолог, доктор исторических наук, профессор. Живёт и работает в Киеве.

Нам дарит Степь...

Немало лет прожив на этом свете,
Мы наконец с тобой понять смогли,
Кому и что нашёптывает ветер,
Белесые волнующ ковыли.

В июньском небе жаворонки виснут,
В колокола воздушные звоня...
И, слава Богу, хоть на склоне дня
Нам дарит Степь чарующие мысли...

* * *

Иногда как меч Дамоклов
Надо мной зависнет сон:
Вновь я в юности далёкой –
Романтичен и влюблён.

Танцплощадка. Парк старинный
Расплескал черёмух цвет,
И танцуешь ты, Марина,
И тебя красивей нет.

Локон светлый. Ткань воздушна.
Туфли-«шпильки» – высший шик,
Но ко мне ты равнодушна
Всеми фибрами души.

Полон был я мыслей жарких,
Бредил встречей тет-а-тет,
И страдал, не видя в парке
Твой знакомый силуэт.

Так и жил, мечту лелея,
Что однажды среди дня
Ты пройдёшь по той аллее
И посмотришь на меня...

В Феодосии – дождь

В Феодосии – дождь,
Он ломает курортникам планы.
Где же бархат сезона,
Коль пляж Золотой опустел?
И заезжие «звёзды»
Здесь реже, хотя без обмана,
Душу радуют пенем,
А глаз – амплитудой тел.

Ноги в мокром песке,
Но пойду постою на причале:
Он бетонную грудь
Таранит седую волну.
И в солёные брызги
Срываются с криками чайки,
Впечатленье такое,
Как будто хотят утонуть.

Ветер с моря подул,
Пригибая деревьев верхушки.
Слишком ранняя осень,
Быть может, в Крыму неспроста...
Под дождем бронзовеет
Александр Сергеевич Пушкин,
На прогулку он вышел
Сегодня, увы, без зонта.

О, нет, сентябрь – благословенен...

Волне наката шагом вторя,
В плену вполне приличных дум,
Как «пёс, бегущий краем моря»,
Песчаным берегом бреду.

Вот календарный финиш лета,
Нет солнечного куража...

Мой друг, а вдруг на осень вето
Нам наложить и продолжать

Полуденные эти страсти,
Где мёд сменялся на полынь,
Где в дьявольской иль в божьей власти
Легко и так бездумно плыть...
О, нет, сентябрь – благословенен,
А этот воздух – бархатист...
И пусть слегка желтеет лист,
И кровь течёт спокойней в венах...

Ах, как мело...

Морозный вечер отгорел.
И снег – искрист. И минус восемь.
И нелегко поверить вовсе
В начало марта на дворе.

Как водит за нос нас зима!
Ей календарь не стал указом...
И понимаешь это сразу,
Дверь приоткрыв: а снега – тьма.

Ах, как мело весь день вчера,
Сугробов круг – не прерываем...
И зябко ёжатся трамваи
На остановке до утра...

По дороге в Бухарест

Автострада в Бухарест.
Дождик, моросящий жидко...
Из каких не ясно мест –
Двухэтажные кибитки.

Ржут устало битюги,
Под собой копыт не чуя...
Ни друзья и ни враги –
Ромы по земле кочуют.

Скарб нехитрый – напоказ,
Детский крик, гортанный говор...
Им вполне начхать на нас
И на то, что рядом город.

Табор щелкает кнутом,
Мча на волю дух и тело...
И к обочинам авто
Прижимает то и дело.

И есть ещё янтарь...

В кафешке на Монмартре
Звучит аккордеон,
И в лёгкой хрипотце –
Любовное томленье.

Меж столиками, в зале,
Господствует шансон,
И за душу берёт
Чужое откровенье.

Здесь вовсе не беда –
Незнание языка.
Захвачены мы в плен
Изысками вокала...
И радостны вполне,
К тому ж – пьяны слегка,
И есть ещё янтарь
На донышке бокала.

Цветёт моё воображение

Увы, хоромы не построил,
Не накопил наличность, но...
Я помню, как пылала Троя
И Атлантида шла на дно.

Орд кочевых неслись приливы
Под пенье жадных скифских стрел...
И в прошлом всё познать хотел
Мой ум изысканно пытливый.

Событий, дат во мне круженье
Легло в логическую связь,
На стержне знаний находясь, –
Цветёт моё воображение.

Мой ум – бесстыжий эрудит,
Срывает с прошлого покровы...
И гул эпох многовековых
В моей вибрирует груди...

И тонет будущность в тумане...

И в эту ночь опять приснится
Счастливый путь в который раз,
Чужие страны и границы,
И вереницей чьи-то лица,
Скользящие вблизи, у глаз.

А явь наступит – только осень,
Всем сновидениям назло,
Струёй дождя надежды косит,
Охапки листьев с шумом носит
И голой веткой бьёт в стекло.

И бесприютным утро станет –
Бесцветное начало дня,
И тонет будущность в тумане,
И, словно женщина, обманет
Судьба игривая меня...

Георгий КАЮРОВ



Дворник

Рассказ

Ночью дворника Гришку с тяжёлым приступом, сопровождавшимся высокой температурой, забрала «скорая». Она долго возила его по городу от больницы к больнице, пока наконец молоденький врач, дежуривший в приёмном покое районного стационара, позаглядывав Гришке в глаза, для этого он сильно оттягивал ему веки, коротко сказал:

– Не наш.

– А чей? – фельдшер устало опустилась на кушетку.

– Везите в инфекционную, – позёвывая, проговорил врач и удалился. – Лучше сразу в тубдиспансер, – раздался его голос из темноты коридора.

– Свалился на мою голову, – с этими словами фельдшер вскочила как ошпаренная и, забираясь в машину, бросила водителю: – В туб везём.

Гришка смутно помнил происходящее в ту ночь. Ему хотелось быстрее куда-нибудь приткнуться, пусть даже на кладбище, но только успокоиться хоть на минуточку. И когда его наконец уложили в прохладную больничную постель, уже от этого стало легче, и он осмотрел всё вокруг просветлевшим взглядом.

Большая палата произвела на Гришку благоприятное впечатление. Последние три года он ютился в душной дворницкой, в которой не было даже окна. В дворницкую, усилиями самого же Гришки, была переделана каморка для инвентаря.

Когда Гришку принимали на работу, то сразу поселили при обкомовском доме в небольшую квартиру, специально отведённую для швейцара, которому вменялось в обязанности, помимо своих прямых, следить за чистотой внутреннего двора и лестничных площадок дома. До Гришки долгие годы дворником работала Акулина. В какой-то период Акулина резко состарилась и стала подслеповата, но когда жильцы увидели, – дворничиха ещё и оглохла, её тут же сменили на более ухватистого Гришку – мужчину тощего, но жилистого и потому в глазах нанимателя теряющего возраст, а ведь новому дворнику-швейцару минул пятьдесят шестой годок. Сначала Акулина захаживала в гости, подскажет чего по обязанностям, новый дворник даже чайком её угощал и подкармливал немного, а потом старуха пропала. Поговаривали, дворничиха померла, то ли по болезни, то ли от тоски, то ли на остановке в морозы лютые замёрзла. В общем, как и принято у людей, – быстро забыли списанную единицу.

После многолетних скитаний по общежитиям коммунизма в отдельной квартире, пусть и казённой, Гришка зажил прекрасно. Светлая комната, совмещённая с кухней, производила впечатление хоромов. Отдельный санузел, в понимании Гришки, делал его жизнь ну прямо министерской. Новый дворник был лёгок наподхват и справлялся с огромным количеством обязанностей, которые тут же навесили на него сдержанно-приветливые, зачастую угрюмо-молчаливые жильцы элитного дома. Годы пролетели быстро, и всё бы ничего, но в какой-то день, Гришка уже и не помнил когда это было, к нему зашёл обкомовский управдом и, оглядев хоромы дворника, коротко сказал:

– Надо бы ремонтик тебе тут закатить.

– Я всегда пожалуйста, – с охотой выступил на центр дворницкой Гришка. – Только прикажите, – мигом отремонтирую.

– Нет, нет, – задумчиво возразил управдом. – Без тебя управятся. Вещи снеси в каморку для инвентаря. Временно там поживёшь.

– Да я и сам... – попытался возразить Гришка.

– Никаких сам, – отрезал управдом на прощание. – Утром придут строители, отдашь им ключи.

Гришка почувствовал неладное, но всё сделал, как приказали. Квартирку отремонтировали, прорубили в стене к соседям большой арочный проход, а входную дверь в Гришкины хоромы заложили кирпичом. Таким образом расширили апартаменты нового главы области. Для одинокого, стареющего Гришки и каморка оказалась божьей благодатью. Последнее время много стариков выбрасывали без разбора на улицу.

За несколько дней, проведённых в больнице, успокоительное лечение и сносный уход устранили острую форму заболевания, и Гришка даже просветлел лицом, но лекарства не помешали мужицкому организму «таять как свечка». Больничная атмосфера только усиливала тревогу у дворника элитного дома за своё дальнейшее существование. На исходе недели в палату вошёл главврач и сразу направился к Гришкиной койке.

– Ну и исхудали вы, – и незаметно махнул медсестре, мельком взглянув на поднявшегося дворника. Та громыхнула об пол весами, подтолкнув их к Гришке, переминающемуся с ноги на ногу.

– Какой у вас нормальный вес? – поинтересовался главврач. – Станьте на весы.

– Да и не знаю, – заволновался Гришка. – Может, шестьдесят?

– Может, шестьдесят, – задумчиво повторил главврач и удалился, тихо отдавая распоряжения медсестре.

– Видно, придётся помирать, – проговорил одними губами Гришка, глядя вслед врачам.

Он ещё раз встал на весы и внимательно изучил стрелку и цифру, на которой та застряла. Потряс весами и снова стал на них. Стрелка упрямо указывала на цифру сорок семь.

Гришка подумал о боге и, как в детстве в доме у бабушки, искал по углам палаты образа. Ноги сами понесли его вон из палаты.

На днях, прогуливаясь по коридорам больницы, он заметил табличку с надписью «Храм Божий». Табличка висела на огромного размера кованой решётке, которой загородили некогда просторный вестибюль. Образованное помещение с внутренней стороны прикрыли плотной кумачовой шторой.

В прежние времена в подобных вестибюлях стояли кресла и телевизор для больных. Можно было посмотреть новости или какой-нибудь фильм.

Дверь в импровизированный Храм Божий была открыта. Гришка неуверенно вошёл и тут же наткнулся на батюшку.

– Что вам? – мерным голосом спросил священник.

– Мне бы исповедаться, – ещё тише ответил Гришка.

От охватившего волнения ноги его подкосились, и дворник едва не свалился.

– Проходите, – подхватывая под руку прихожанина, батюшка подвёл того к стулу и усадил. – Не волнуйтесь. Крещённый?

– Да. И крест нагрудный... – Гришка пошарил по груди, но замешкался. – Был.

Возвращался Гришка упокоенным. Соседи по палате встретили его равнодушными взглядами. Эта молчаливость также удручала Гришку, но, привыкший подчиняться обстоятельствам, он принял правила и строго им следовал. Дворник прибрал все свои вещи в сумку. Кровать перестелил, взбил подушку и улёгся, прикрывшись одеялом. Руки спрятал под одеялом и уложил их на груди. Именно в таком положении он хотел умереть. Гришка закрыл глаза и облегчённо вздохнул.

Видением встал образ старшей сестры. После смерти матери их пути разошлись. Сестра заняла родительский дом, а Гришке ничего не досталось.

– Что ему надо? – отвечала на укоры соседей сестра. – Зачем ему дом? Он в городе живёт.

«Не буду сообщать ей о своей смерти. Пусть таким будет моё неповиновение для неё. Не стоит она моего внимания. Кабы в ладах жили – сообщил бы... Что же получается, вроде я её наказываю? Может, бог её давно простил и моё наказание неумогутно будет богу? Батюшка говорит – жил я честным человеком, жил в усердии. Злоба к сестре ведь не от усердия, а от злобы выходит».

Гришка твёрдо решил сообщить сестре о своей скорой кончине. И тут же новое видение – сына своего.

Гришке часто снилось, как они с сыном за ручку гуляют. Он никогда не видел лица мальчика, но хорошо помнил теплоту и его запах. Часто, проснувшись и лёжа с закрытыми глазами, Гришка ощущал в своей руке теплоту сыновьей ручки. Иногда, возбуждённый сном, Гришка накрывал лицо руками и жадно вдыхал детский запах, ощущая даже аромат вспотевшей ладошки.

Так и прожил на всём белом свете один-единёшенек, – горечь от своей судьбы напрягла всё тело, и Гришка скрежетнул зубами, всеми силами пальцев вцепившись в матрац.

– Прими поскорее, господи, душу раба твоего Григория, – проговорил одними губами дворник и снова скрестил руки на груди.

Всю пятницу, лёжа, не шелохнувшись, с закрытыми глазами, Гришка ждал смерти. Он так свыкся с этой мыслью, даже не заметил, как кончился день и прошла ночь. Когда утром ударил колокол в больничном Храме Божиим, Гришка поначалу подумал – вот оно, наступило восхождение в Царствие небесное. Неожиданно раздались многочисленные голоса, их Гришка услышал отчётливо, и потянуло ароматным мясным соусом. За сутки его тело привыкло к своему положению, и Гришке стоило усилий, чтобы пошевелить рукой. Ещё больше потребовалось усилий, чтобы открыть глаза. Палата была полна людьми – это пришли проводить своих близких родственники. Изъятые из сумок домашние яства тут же наполнили помещение одурманивающими голодающий организм ароматами.

Вмиг больничная палата приняла для Гришки праздничный вид. Ему не верилось, что он жив, – ведь он так хотел умереть, даже начал умирать. Повидался с сыном, простил сестру. Неужели это был сон? Он снова закрыл глаза, но и с закрытыми глазами явственно различал мясные угощения, свеженарезанный огурчик, домашнюю колбаску и борщ со сметаной. По палате ходили люди, разговаривали и смеялись дети.

Гришка опять открыл глаза и осмотрел всё вокруг. Горькое разочарование овладело им – он не умер, он остался жив, не удостоился, не сподобился, не открылись врата храма для него. А ведь священник говорил – «ты жил праведно, с усердием». Удручённый этой мыслью, Гришка не сразу отозвался на приглашение угоститься, а когда одумался, то все о нём забыли.

Более суток расслабленного сна сделали своё дело, подкрепили собравшееся добровольно умереть тело. Гришка почувствовал себя бодрее и даже энергично встал. Внимание на активность странного больного обратили только дети, и то недолго. Родители приструнили своих чад, и те потеряли всякий интерес. Завтрак Гришка пропустил, а до обеда оставалось достаточно времени. Проступивший здоровый аппетит начал злить дворника. Он взял с тумбочки стакан и собрался было отправиться хотя бы за водой, как дверь в палату распахнулась. Все примолкли, рассматривая появившуюся колченогую старуху. Она опиралась на палку, а в другой руке держала увесистую сумку.

– Здесь Григорий лежит? – прокаркал её рот.

– Мать честная! – воскликнул Гришка, узнав Акулину. – Какими делами ты на нашем погосте?

– Вот, зашла тебя проведать, – не обращая внимания на шутливый тон брата, сообщила старуха, раскладывая на тумбочке угощения.

– Заходила к управдому. Он и сказал – Гришка туберкулёзник и пошёл умирать в больницу, – убогая Акулина была, как и Гришка, одинока на всём белом свете.

– Спасибо, Акулинушка, спасибо, бабка, – сквозь накотившие слёзы шептал Гришка, разглядывая подарки. – Говорили, ты померла уже давно?!

– Не грехи, – коротко оборвала старуха. – Поди, богу до меня дело? Живу пока.

– Ты права. Без воли божьей волос с головы человека не упадёт, – важно подтвердил Гришка. – Меня батюшка на днях исповедовал и сказал, в святых писаниях говорится о том, что всё по его воле делается на земле.

Акулина тупо уставилась на Гришку, не находя, чем возразить, и неожиданно воскликнула:

– Ой! Ну и восковой же ты стал, – залепетала она, – совсем как есть прозрачный. Плохо, видно, кормят? Сколько же ты вешишь?

– И ты, старая, про веса?! – в сердцах воскликнул Гришка.

С трудом переводя дыхание, ещё и потому, что волновался, он рассказал в подробностях о больничном уходе, о своих мыслях о сестре и о том, что он её простил, о своём сыне, который мог бы у него быть, если бы женился Гришка вовремя, а теперь сын приходит к нему во сне и они гуляют за ручку. Ещё Гришка рассказал, но уже шёпотом, о своей скорой кончине и о том, как договорился с докторами и продал им для опытов своё тело после смерти.

– Это как? – не поверила Акулина.

– Так. Подписал бумагу, мол, так и так, после моей смерти возьмите меня на опыты, – и, приблизившись к самому уху Акулины, добавил: – Они мне за это пятьсот рублей из кассы выдали. Вот, – Гришка достал из-под подушки кошелечек и вынул оттуда деньги.

– Как же за могилой ухаживать? – растерялась Акулина и перекрестилась.

Она смотрела на исхудавшее лицо Гришки, на ввалившиеся почерневшие глаза, сухие запёкшиеся губы, на живот, завалившийся между двумя мосолами, на руки, покрытые истончённой кожей и пустыми венами, как синими испачканными потёками. Старухе стало жалко брата, которому суждено после смерти остаться без собственной могилы, хотя она и сама давно уже свыклась со смертью. Вот и Гришка, оказывается, её похоронил. Понимая мысль о смерти просто, она не находила нужным утешать мужчину надеждой, что он поправится и врачи часто ошибаются, а поддакивала ему, когда тот, ссылаясь на слова тех же врачей, говорил ей:

– Сегодня не умер, значит, завтра помрёшь, не завтра – так готовься не проснуться в любой день.

В их разговоре наступило тяжёлое молчание. Неожиданно Акулина засобиралась.

– Как же свечку поставить в церкви? – растерянно проговорила она.

– Почему же нельзя свечку? – удивился Гришка.

– Так опыты же... – никак не могла взять в толк старуха.

– А-а, ты про это, – успокоился Гришка. – Так свечку можно.

– Давай тогда деньги на свечку.

– На, вот, – Гришка отсчитал нужное количество денег и приложил двадцать пять рублей сверху. – Акафист закажешь и за упокой души поману.

– Хорошо. Больше приходить не стану, тяжело мне. В следующую пятницу зайду и спрошу, в какое число ты помер, чтобы знать, когда девятый и сороковой день, – укладывая пустые кульки, говорила Акулина. – Ты побеспокойся сам. Накажи врачу, чтобы мне сказали, когда ты умер.

– Побеспокоюсь, не волнуйся. Скажут, – обиделся на прямолинейность старухи Гришка.

– Побеспокойся, побеспокойся, – не обращая внимания на настроение мужика, наставляла Акулина.

– Ещё до смерти кого следует побеспокой, попроси, не забудь.

– Ладно тебе, ступай.

Старуха закончила и приготовилась расставаться. Она отложила в сторону свою палку, и они с Гришкой обменялись троекратным поцелуем.

– Прощай, Григорий Пантелеич, – перекрестив Гришку, объявила Акулина. – Если что не так, прости, а встретимся в царствии небесном, сочтёмся, – и поклонилась земным поклоном.

– Ты меня прости, что твоё место занял.

– Никаких обит к тебе не держу, – так и сказала «обит», надавив на букву «т» и брызнув слюной. – Прощевай.

И снова старики обнялись в троекратном поцелуе, прощая друг друга.

– Не забудь про панихиду, – и Гришка погрозил пальцем.

– Деньги взяла, как же забуду? – изумилась Акулина.

– Ладно, уходи, старая... прощай... Не увидимся больше... – Гришка едва успел скрыть слёзы, отвернувшись к окну.

– Богу будет угодно, увидимся скоро, – не замечая перемен в брате, продолжала Акулина. – Прощай. Помирай себе с богом. Дай бог тебе царствие небесное, – и, оглядевшись по сторонам, добавила: – Хорошая палата. Поживи напоследок в человеческих условиях.

Гришка поспешил улечься в кровать, как лежал прежде, и прикрылся одеялом, сложив руки крестом на груди. Очень ему захотелось показать Акулине, каким он будет лежать мёртвым. Старуха одобритительно закивала и перекрестила будущего покойника, приговаривая:

– Царствие тебе небесное, царствие тебе небесное, – и, постукивая об пол палкой, удалилась.

Гришка провожал старуху закрытыми глазами, и в голове у него ещё долго крутились Акулинины слова: «Царствие небесное, царствие небесное».



Иван ЕВСЕЕНКО

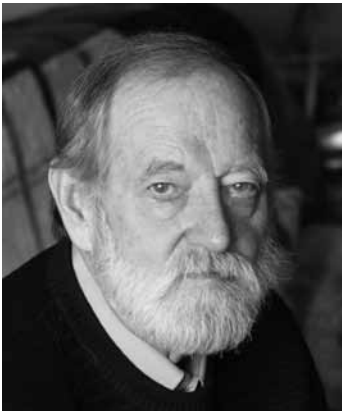
Поющие пески

Повесть

*Песня песков – песня сирен, заманивающих
путешественников на верную гибель в безводной
пустыне, колокольный звон монастырей,
погребенных в пучине песков.*

Р.А. Бэгноулд,
английский исследователь

Природа поющих песков до конца не изучена.
Интернет



Глава первая

В том году я несколько месяцев жил в маленьком двухэтажном домике на Куршской косе, что узенькой ленточкой тянется от Калининграда до Ниды и дальше до литовского города Клайпеды.

В этих местах, в бывшей Восточной Пруссии, я служил в армии, в ракетных войсках стратегического назначения. Демобилизовался прошлой осенью, в середине октября, в самый разгар бабьего лета. Восстанавливаться на учебу в пединституте, откуда меня призвали в армию три года тому назад, было уже поздно. Все мои новые однокурсники готовились к зимней сессии, и мне никак их было не догнать. Я съездил на несколько недель домой к матери, получил взамен военного билета паспорт и вернулся назад в город Гвардейск (когда-то у немцев он назывался Тапиау), где и проходил службу. Ещё, будучи солдатом и сержантом, я сотрудничал с местной районной газетой, приносил туда небольшие заметки, а чаще стихи, которые начал тогда писать. В газете меня хорошо помнили и без особых проверок взяли литсотрудником сельхозотдела.

Работать в газете я намеревался до июня-июля, а потом, теперь уже, как следует, отдохнув дома у матери, восстановиться в пединституте и начать учебу заново, с первого сентября.

Но ранней весной все мои планы неожиданно разрушились. Я вдруг решил бросить газету, уехать на Куршскую косу, снять там комнату или мансарду и засесть писать ни мало ни много, а роман, сюжет которого в голове моей давно созрел. Я даже точно знал, где, в каком доме сниму эту комнату или мансарду.

Минувшей осенью мне однажды уже довелось побывать на Куршской песчаной косе. В Калининграде жил мой товарищ и первый литературный наставник Женя Шанин. Он был старше меня на целых десять лет и преподавал в пединституте, вел там практические занятия по выразительному чтению. Все начинающие калининградские поэты, музыканты и актеры тянулись к нему, человеку чистейшей души и сердца. На одном из областных совещаний молодых поэтов Женя заметил и меня, тогда еще в форме старшего сержанта ракетных войск.

Устроившись на работу в газете, я часто стал приезжать из Гвардейска в Калининград к Жене, бывать в его маленькой комнатке на улице Офицерской, где почти каждый вечер собирались юные дарования. Мы читали только что написанные стихи, пели под гитару (и Женя лучше и проникновенней всех) входящие в моду песни Новеллы Матвеевой, Булата Окуджавы и Юрия Визбора. Хорошо нам было в те дни, отрадно, шумно и весело – и по-молодому счастливо.

Осенью, как только начинались в пединституте занятия, Женя с неугомонными своими подопечными ездил на заповедную Куршскую косу, тогда еще открытую для любого и каждого путешественника (после, уже не в мое время, ее закроют и станут пропускать туда любителей путешествий лишь по особому разрешению). Собираясь в одну из таких поездок, Женя пригласил на косу и меня.

Нагруженные рюкзаками (я стареньким своим, армейским, прошедшим за три года службы со мной все огни и воды), палатками, ведрами и котелками, мы на зеленой юркой электричке доехали до города Зеленоградска, бывшего Кранца, а потом, пройдя за его околицу, может быть, всего километр или полтора, обосновались беспокойным студенческим лагерем в одном из самых узеньких мест косы, на берегу Балтийского моря. Куршская коса поразила меня своей красотой и каким-то непознаваемым величием, присущим лишь таким вот окраинным, конечным островкам земной суши и тверди. (После такую же красоту и такое же величие я почувствую и осознаю на северном полуострове Полярном, куда меня случайно занесет судьба).

С левой, западной, стороны Куршской косы простирается незамерзающее от близкого течения Гольфстрим, но все равно почти всегда, в любую пору года какое-то холодное и неприветливое Балтийское море. Мне казалось, оно никогда не бывает синим, а чаще всего либо темно-зеленым, во время дождя и шторма, либо светло-коричневым, янтарным, в солнечные, яснее дни, но от этого не менее холодным.

С правой стороны косы тихо и незаметно плещется заросший по берегам (точь-в-точь, как у меня на родине, река Сновь) камышом Куршский залив. В него впадает множество рек и речушек, и, наоборот, от этого вода в заливе пресная (или считается пресной).

Вдоль всей Куршской косы до самой Ниды и Клайпеды растут лиственные и хвойные леса: березы, клёны и липы, сказочно-таинственные ели и высокие корабельные сосны. Но больше всего путешественников удивляют причудливо согнутые горные сосенки, островки которых называют «танцующим лесом». Под напором штормового, дующего с Балтийского моря и Атлантического океана ветра корабельные сосны очень заметно склонены на восток, к Куршскому заливу. Иногда даже кажется, что они очень устали бороться с этим жестоким ветром и держатся из последних сил. Но держатся и не покоряются ему, больше всего на свете боясь превратиться в кривые и корявые горные сосенки. Корабельные сосны величественно скрипят вековыми своими стволами и еще более величественно шумят высоко вверху темно-зелёными, цвета морской волны кронами.

Но главная достопримечательность на Куршской косе песчаные, раскинувшиеся по всему морскому побережью дюны. Самая высокая из них – Королевская подвижная дюна, которую называют еще дюной Эфа в честь королевского дюнного инспектора Вильгельма Франца Эфа. Если подняться на вершину этой почти семидесятиметровой дюны, то можно услышать, как поют ее всегда влажные пепельно-белые пески. Говорят, леса на Куршской косе вблизи города Кранца очень старые и никогда не вырубались. Здесь на протяжении нескольких столетий был королевский охотничий заказник. В нем отлавливали и обучали королевских соколов. Существует и еще множество других легенд и преданий о Куршской косе, о ее лугах и озерах, о «танцующем» лесе и Королевской поющей дюне.

Пока ребята разбивали лагерь, устанавливали палатки, устилали их сосновыми ветками, мы с Женей сходили к Куршскому заливу и в луговом озерце набрали два ведра пресной прозрачно-чистой воды для чая. Девчонки тут же принялись кипятить ее на костре в медном закопченном чайнике, общем, как я понял, достоянии всей дружной студенческой компании.

Несмотря на конец октября, погода стояла не просто теплая, а почти что жаркая. Такое в Калининградской области по причине все того же течения Гольфстрим случается часто. Листья на деревьях: березах, осинах и клёнах, нигде не пожелтели, не взялись осенней позолотой и багрянцем. Они были еще упругими и свежо-зелёными, словно в летние июньские или июльские дни.

Мы думали, море тоже еще теплое и в нем можно будет купаться. Но оно было уже холодным, с пенистыми рокочущими волнами, предвестниками скорого шторма. Купаться мы не рискнули, а лишь, дожидаясь, пока закипит чайник, стали бродить вдоль берега и выискивать в песке и гальке крупинки янтаря. На Балтийском море это любимое занятие всех местных жителей и особенно приезжих путешественников, которые надеются найти большой янтарный камень с запечатленной внутри мушкой, по преданиям приносящий удачу и счастье. Надеялись и мы, хотя знали, случается это очень редко...

Мы были на самой западной окраине нашей земли, но солнце было еще западнее. Оно уже садилось и потухало, освещая море и бегущие одну за другой волны, но почти не освещало прибой и прибрежную полосу, укрывая от нас янтарные камушки. Их лучше всего искать утром, на восходе, когда солнце светит навстречу морю и волнам и камушки зримо блестят, искрятся на прибрежном песке. Но мы все равно искали их и надеялись на удачу...

Но вот чайник наконец закипел, и мы группами и поодиночке потянулись к костру. И тут нас вдруг застал требовательный зовущий голос женщины, который долетал из небольшого двухэтажного домика (вернее, одноэтажного, но с высокой мансардой под самой крышей), нависшего над песчаной зыбкою кручей.

– Мальвина! Мальвина! – кричала женщина (судя по голосу, совсем еще молодая и юная), скорее всего, зовя какую-нибудь маленькую девочку, дочь.

Мы невольно удивились этому странному имени и принялись гадать, действительно девочку называли так по рождению в честь Мальвины с голубыми волосами из сказки о деревянном человечке Буратино или это только прозвище, а на самом деле её зовут как-нибудь совсем по-иному, обыкновенным, привычным именем.

Крик между тем повторился еще раз и еще:

– Мальвина! Мальвина!

Мы остановились и с любопытством начали ожидать, кто же откликнется на этот строгий требовательный крик. Но никто не откликнулся. Мы встревожились и готовы уже были придти на помощь юной матери в поисках непослушной ее дочери. Но вот из-за песчаного прибрежного бугорка, до которого мы не дошли всего нескольких шагов, показалась девочка лет четырех в летних, надетых на босую ногу сандалиях. Отряхнув от песка ладошки и пальцы (должно быть, воздвигала на берегу какой-нибудь сказочный город или тоже искала янтарные сокровища), она вприпрыжку побежала к дому. Две туго заплетенные косички с белыми бантиками за каждый шаг весело раскачивались из стороны в сторону и били девочку по хрупким худеньким плечикам. Солнце, будто специально, в последний раз поднявшись над морским горизонтом, осветило бегущую фигурку, и нам показалось, волосы у девочки действительно голубые. Наверное, это был обман зрения, который часто случается, когда сливаются при закате солнца ярко-голубой цвет неба с янтарно-зеленым цветом моря и пепельно-белым отблеском песка.

Девочка быстро поднялась по узенькой тропинке к домику, хлопнула вначале калиткой, а потом и входной дверью – и почти в то же мгновение в домике зажглись огненно-желтые, далеко видимые в вечерних сумерках огни, напоминающие огни маяка, которого так ждут в море терпящие бедствие корабли.

Мы перестали тревожиться за девочку Мальвину (а то, что она Мальвина, согласились единодушно) и за её строгую мать и весёлой гурьбой заторопились к костру, откуда нас тоже все настойчивей и настойчивей звали.

* * *

Чай уже закипел и был разлит в чашки. Но кроме чая появилось еще несколько бутылок белого сухого вина, любимого напитка в те годы всех студентов.

Мы выпили за море, за янтарные его сокровища, за песчаные поющие дюны, на которые собирались подняться завтра утром, и, чуточку захмелев, принялись петь то про дежурного по апрелю, то про капитана с усами и без усов («капитан без усов, словно корабль без парусов»), то про бригадирну и Гренаду. Потом стали по кругу читать стихи, свои и чужие, мало похожие на прежние, знакомые нам с детства по урокам русской литературы.

Женя безжалостно поднял меня и заставил при полной тишине и внимании слушателей читать стихи-верлибры, до написания которых я дошел собственным умом, не зная, что их писали многие поэты с незапамятных времен и до меня, не слышал даже имени великого американского поэта Уолта Уитмена. Сбиваясь и на каждой строчке забывая текст (Женя мне вовремя подсказывал, приходил на выручку), я стал читать, чутко и ревниво улавливая настроение взыскательных слушателей.

Стихи мои им понравились, и студенты просили читать еще и еще. Я читал, но ревнивое чувство меня не покидало. Все ребята вокруг костра были моими ровесниками (кто чуть старше, кто – моложе), но все они уже оканчивали институт, а мне еще только предстояло следующей осенью начать учиться на первом курсе. Если бы меня не призвали в армию, я бы сейчас тоже был уже на четвертом курсе, во всем ровня им, без двух минут учитель, преподаватель русского языка и литературы. Но меня призвали, и теперь я чувствовал себя рядом с ребятами-студентами уязвленным и подавленным, словно молодой («зеленый»), не принявший еще присяги новобранец перед солдатами третьего года службы – «стариками» и «дедами».

Это чувство, наверное, испортило бы мне весь вечер, но вдруг возле моря послышалось ржание и фыркание лошади, а спустя несколько минут к нашему костру подошли три пограничника с так хорошо знакомыми мне автоматами Калашникова на плечах: старший сержант и два рядовых – пограничный наряд.

Старший сержант, поправив, поддернув на плече автомат (я всем своим не отвыкшим ещё от оружия телом почувствовал, как при этом ощутимо ударился, торкнулся чуть ниже его правой лопатки ребристо-согнутый набитый патронами рожок), с достоинством, но без лишней строгости поздоровался с нами и предупредил:

– Мы сейчас пробороним прибрежную полосу, так вы до утра ее не переходите!

Ребята, по-видимому, не раз во время своих походов встречавшиеся здесь с пограничниками, дружно пообещали:

– Не будем!

Пограничники собрались уже было уходить к запряженной в обыкновенную крестьянскую борону лошади, которая опять зафыркала и забеспокоилась за кустами возле берега, но тут вдруг девчонки стали наперебой приглашать неожиданных гостей к костру:

– Садитесь с нами, попейте чаю!

Старший сержант минуту поколебался, посмотрел на часы, а потом вдруг согласился (как я понимал его в эту минуту!):

– Только недолго, а то лошадь у нас пугливая, моря боится.

– Недолго, недолго, – пообещали девчонки и, в одно мгновение забыв о своих гражданских сверстниках, с нескрываемым восхищением посмотрели на мужественную форму пограничников, на их зеленые с чуть укороченными козырьками фуражки (известное дело – пограничники, единственные из всех родов войск, пилоток не носили, чем очень гордились, считая пилотки легкомысленным и ненадежным головным убором). Они потеснились, расширили возле костра круг и усадили пограничный наряд на камнях и сосновых мореных бревнах, которых морские волны пригнали, может быть, из самой Швеции.

Почувствовав рядом «своих», родных людей, солдат, я воспрянул духом, приободрился и тайком, про себя, пожалел, что военный свой мундир, тоже с нашивками старшего сержанта на погонах, медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и полным набором знаков солдатской доблести: гвардейским значком, значками «Отличника Советской армии», «Классного специалиста» и ГТО второго разряда оставил дома у матери, а то можно было бы и мне явиться сегодня перед студентами в ладно подогнанном этом дембельском мундире, и девчонки смотрели бы на меня точно так, как смотрят сейчас на пограничников. Правда, погоны и фуражка у меня не зеленые, а угольно-черные. Но это не имеет никакого значения. Наоборот, парадные огненно-золотые нашивки на черных погонах и на тугом стоячем воротничке смотрятся даже гораздо ярче и ослепительней, чем у пограничников.

Для начала пограниникам, конечно, налили не чаю, а вина. Сержант, принимая стакан, опять минуту поколебался – пить или не пить – ведь пить вино или водку солдатам срочной службы, да еще при несении караульного наряда, строго-настрого запрещено, но потом все-таки выпил и разрешил выпить своим подчиненным. Я опять, как никто из собравшихся здесь, понял его. Что может быть отрадней солдату этой запретной выпивки в кругу своих гражданских сверстников?! Кто не служил в армии, тот и отдаленно не может знать, как томятся под казенными мундирами и робами-хэбэ солдатские сердца и души, как нестерпимо хочется рядовым и сержантам поскорее стать гражданскими свободными людьми и как сладка им вот такая случайная выпивка возле вечернего костерка, да еще в окружении столь внимательных к ним студенток.

Подчиненные сержанта начали откровенно заигрывать и ухаживать за девчонками, и, кажется, не без успеха. Он по-командирски жестко и предупреждающе посмотрел на них, но потом дал полную волю и свободу, должно быть, хорошо зная, что за недолгие эти минуты отдыха и отдохновения ничего плохого с ними не случится и ничего плохого они не сотворят...

* * *

Пограничники посидели возле костра, наверное, еще минут двадцать, а потом поблагодарили за угощение, попрощались и ушли к своей нетерпеливой, уставшей стоять в одиночестве лошади.

Сопровождать их вызвались несколько наших самых отчаянных, жаждущих приключений девчонки. Мы, хотя и с сожалением, но отпустили их, и после долго слушали, как они, всё дальше и дальше удаляясь от костра и лагеря, весело, со смехом и частыми громкими криками переговариваются с пограничниками, учатся управлять запряженной в борону лошадью и, похоже, готовы идти за ней на край света.

Незаметно наступила ночь, небо озарилось высокими, немного влажными и от этого особому искристыми звездами. Я ожидал, что сейчас студенты и студентки разобьются по парам и разойдутся вдоль побережья, как расходятся после кино и танцев наши деревенские ребята и девчонки вдоль реки. Но никто не расходился, то ли в студенческой этой, во многом пока загадочной для меня компании не было принято расходиться, оставляя своего наставника, Женю, Евгения Алексеевича, одного, то ли пары в ней еще не образовались. Наоборот, как только пограничники ушли, студенты сплотились вокруг костра еще тесней, забыли и про вино, и про чай,

опять принялись петь и про капитана, и про «большой ветер, который напал на наш остров», и еще Бог знает о чем.

Я за три года военной службы привык к иным песням: строевым, с понятными и ясными словами, поднимающими боевой дух и доблесть, а эти я знал еще плохо, не все в них понимал, и лишь, не умея петь, одиноко томился и печалился. Время от времени я поглядывал на домик, на желто-яркие огни в его окнах, пытался представить, что происходит сейчас за ними, что говорит мама (и какая она?!) Мальвине, и что говорит девочка Мальвина маме, и что им обоим говорит их, наверное, тоже очень строгий папа...

Но вот огни потухли, домик погрузился в чернильно-черную темноту, стал невидимым, будто исчез навсегда, и мне от этого сделалось совсем грустно...

Ребята у костра перестали петь, Женя отложил гитару и вдруг начал читать с особым проникновением и глубиной, как это умел делать только он один, новое, еще никем из собравшихся не слышанное стихотворение Новеллы Матвеевой:

*Был человек раздвоен,
Был человек расстроен,
Расчетверен,
Распят...*

И это все было обо мне...

* * *

Мы засиделись у костра до самого рассвета. В палатку ушли и сразу крепко уснули лишь те три девчонки, которые ходили провожать пограничников. Среди них, между прочим, была одна, с которой я еще в электричке несколько раз переглядывался, и она не отводила от меня взгляда своих синих пронзительных глаз. Но теперь попутчица моя, кажется, забыла об этих взаимно любознательных наших взглядах и безмятежно спала в палатке на горной пахнущей морем хвое. И я, совсем еще не зная ее и не любя, повторил ей на сон грядущий несколько строчек стихотворения Евгения Евтушенко, которым мы тогда все так восхищались:

*Любимая, спи...
Мою душу не мучай,
Уже засыпают и горы, и степь,
И пес наш хромучий,
лохмато дремучий,
ложится и лижет солёную цепь.*

Она, должно быть, услышав мои заклинания, уснула еще крепче и не видела, как солнце уже поднялось над Куршским заливом и, ярко освещая на море встречные пенистые волны, преступно перешагнуло через нейтральную полосу и всеми цветами радуги заиграло на выброшенных за ночь прибором крупинках янтаря.

Мы всей гурьбой пошли искать его. Кому-то повезло, и он нашел не только янтарную песчинку, но даже крупный нежно-солнечного цвета камушек с остро обломанными краями и гранями, – а кому-то не повезло вовсе. По крайней мере, я не отыскал (не умел еще тогда искать, не приловчился) не только камушка, но и самой маленькой янтарной капельки-песчинки. А мне ведь так хотелось найти и песчинку и камушек, чтоб после подарить их той неверной попутчице из электрички, что сейчас сладко и дремотно спала в палатке...

Пока мы бродили по побережью, безжалостно вытаптывая нейтральную полосу, солнце поднялось совсем высоко, выше корабельных скрипучих сосен и выше дюн, задержалось на несколько минут над кирпично-красным домиком, наверное, затем, чтоб разбудить там девочку Мальвину, и побежало дальше на запад, через море, в чужие холодные страны...

Радуюсь своим находкам и щедро делясь ими друг с другом, мы опять вернулись в лагерь, разожгли костер, попили чаю и, необидно подтрунивая над девчонками-беглянками, которые только-только выглянули из палаток, стали собираться в поход и восхождение на дюны, и в первую очередь, ко-

нечно, на самую высокую, Королевскую, чтоб послушать ее поющие пески, посмотреть с ее поросшей редкими похожими на колючие кактусы растениями вершины вначале в левую сторону, на запад, на морской горизонт и дальше горизонта, за неуловимую его черту и линию в надежде увидеть там настоящий корабль, непременно под тугими белыми парусами; а потом – в правую сторону, на тихо плещущийся Куршский залив, где, конечно же, никакого корабля с парусами быть не могло – одни только утлые лодчонки каких-нибудь рыбаков-удочников. Но и на них можно было смотреть часами. Собственно, ради этого мы и приехали в последние дни октября сюда, на Куршскую косу.

Как истинные опытные покорители горных и песчаных вершин, мы вооружились палками и посохами, изобретая их из выброшенных на берег коряг, и дружно выстроились в затылок нашему предводителю – Жене. Но вдруг, откуда ни возьмись, с моря подул холодный, колючий ветер («какой большой ветер напал на наш остров, с домишек сдул крыши, как с молока пену»), небо вмиг затянулось низкими черными тучами, сквозь которые не мог пробиться ни единый луч солнца, и из этих злобещих туч, как из ведра, полил на нас секущий лица и руки, тоже опасно-холодный дождь.

В Прибалтике перемена погоды случается по сто раз на дню. Я это хорошо знал и изучил за три года армейской службы. Бывало, слаженным солдатским строем маршируем мы на завтрак или обед: солнце горит и сияет над нашими головами ярче-яркого, на небе ни единого облачка, синь такая, что даже глаза болят; а возвращаемся назад всего через полчаса – все переменяется: испуганное солнце будто укатилось за горизонт, небо все в низких лохматых тучах, с которых льется вот точно такой же, как и сегодня, проливной дождь. Солдаты, правда, не унывают (люди привычные, закаленные), по команде сержанта не нарушая строя, пускаются бегом в казарму, и не раз случалось, что не успевает строй еще добежать и рассыпаться, как все опять переменится – тучи, гонимые ветром, бесследно исчезнут, а отдохнувшее солнце выкатится из-за горизонта и засияет пуще прежнего.

Все ребята-студенты, жившие в Калининградской области тоже не первый год, знали эту переменчивость прибалтийской погоды не хуже меня.

Ожидая, что дождь через минуту-другую, самое многое – через полчаса – прекратится, и можно будет двинуться в поход и восхождение, мы забились в палатки (как мне хотелось попасть в одну палатку с той, у которой такие синие пронзительные глаза) и притаились там.

Но дождь никак не прекращался, а, наоборот, становился все сильнее и сильнее. Все-таки была уже осень: тепло и жара оказались обманчивыми и недолговечными. Изредка выглядывая из палаток, мы даже видели, что между потоками дождя то там, то здесь кружатся тяжелые и мокрые хлопья снега. Одеты мы все были по-летнему легкомысленно: девчонки в легкие, часто даже с короткими рукавами платья; ребята в такие же рубашки. В запасе, правда, кое у кого были не больно надежной, тонкой вязки свитера. Но они не столько грели, сколько придавали нам вид отважных морских волков (так мы о себе думали), поклонников Хемингуэя, портрет которого в сером с высоким воротом свитере священно хранился у каждого из нас. Лишь у нескольких человек случайно оказались в рюкзаках модные тогда болоньевые плащи или штормовки, да у меня солдатская непромокаемая плащ-палатка. При демобилизации мне ее милостиво выдал старшина батареи Костя Никольский в знак нашей с ним крепкой трехлетней дружбы.

– Бери! – царственно сказал он. – Сгодится!

Я взял. И вот сгодилась.

В укрытии мы стойко и мужественно просидели еще с полчаса, а может быть, и целый час, надеясь, что погода прояснится и наш отряд непременно поднимется на дюну, если не на Королевскую, то хотя бы на самую ближнюю к нам, не очень высокую и, скорее всего, непоющую. Но погода никак не прояснялась, солнце оставило и забыло нас, и Женя принял непреклонное решение – сворачивать лагерь и как можно скорее идти на станцию, чтоб успеть на одиннадцатичасовую электричку. Восхождение на дюны откладывалось до весны.

Мы безропотно подчинились Жене: сами хорошо видели, что пропадем здесь, возле зеленого разбушевавшегося моря. Прикрываясь моей растянутой за четыре угла плащ-палаткой, мы наскоро собрали нехитрый свой скарб, побросали палки и посохи и поднялись на мокрое и скользкое от дождя и снега шоссе. Оно было совсем не таким, как у нас, в центральной России. Выложенное немцами в полукруг из точно вымеренных квадратных булыжников, шоссе это в осеннюю непогоду и шторм выглядело по-тевтонски угрюмым и мрачно-злобещим. Казалось, еще мгновение и, преграждая нам дорогу, из-за поворота выскочит конный отряд псов-рыцарей, закованных в латы и шлемы, похожие на перевернутые вверх дном ведра, точь-в-точь, как в кино «Александр Невский». Идти по такому

шоссе, да еще навстречу дождю и штормовому ветру, было тяжело и опасно. Низко наклонив головы, мы с большим трудом одолевали шаг за шагом, булыжник за булыжником и уже явственно слышали, как переговариваются на отрывистом своем прусском наречии псы-рыцари, как они звенят щитами и копьями.

Домик Мальвины и ее юной матери шоссе теснило почти к самому морскому обрыву и будто хотело столкнуть его туда. Но он упрямо стоял, не поддаваясь ни дождю, ни ветру, иногда переходящему в настоящий шквал.

Придерживая в паре еще с одним парнем над головами девчонок рвущуюся на ветру плащ-палатку, я постоянно оглядывался на спасительный домик-укрытие. Он не подавал никаких признаков жизни. Калитка и двери были крепко заперты, окна наглухо задернуты темно-коричневыми шторами. Можно было подумать, что обитатели домика бежали от надвигающегося шторма, а еще больше от нашествия псов-рыцарей куда-нибудь в глубь полуострова, в леса или на Королевскую дюну, где у них есть надежное укрытие. А может, наоборот, они закрылись в доме, не боясь ни шторма, ни призрачных рыцарей, растапливают сейчас кафельную голландскую печку, и всем им там хорошо и уютно.

Я все это зримо представлял: и высокую печку-голландку, обложенную темно-зеленым с прожилками кафелем, которая разгоралась все сильнее и сильнее, наполняя дом мягким древесным теплом; и плотно задернутые со стороны шоссе, чтоб обитателей дома не обнаружили незваные гости, шторы; и громадный стол посреди комнаты, а на нем чашки с обжигающе – горячим дымящимся кофе. Мне нестерпимо захотелось туда, в этот домик, в его тепло и уют, к раскаленной печке (как хорошо было бы прижать к ней донельзя озябшие пальцы!), к дымно-пахучему с едва ощутимой на вкус горчинкой кофе, к девочке Мальвине в розовом платьице, к ее взыскательной матери и (так уж и быть!) к их папе, возможно, капитану какого-нибудь громадного океанского корабля-судна.

Но надо было идти все вперед и вперед. Прикрывая плащ-палаткой совсем окоченевших девчонок, в том числе и ту с пронзительными глазами, которая теперь опять поглядывала на меня точно так, как вчера в электричке, надо было спастись бегством и спасти своих незадачливых попутчиков и попутниц, все-таки я был недавний солдат, защитник и рыцарь.

Я покорился судьбе, дал себе твердое обещание больше не оглядываться на так предательски манящий меня к себе домик, а то еще действительно чего доброго поверну к нему и укроюсь за его толстыми стенами, которые от дождя и ветра стали бордово-бурыми, холодно-неприветливыми снаружи и нежно-теплыми изнутри.

Но на повороте я все же не выдержал и в последний раз оглянулся на него. И вот именно в это мгновение (я после часто вспоминал его и никак не мог понять, что же со мной случилось?) я решил, что рано по весне брошу свою опостылевшую газетную работу, приеду сюда, на Куршскую косу и сниму комнату в этом почти уже родном мне домике. А то, что свободная комната (или даже пусть какой-нибудь чуланчик) в нем непременно есть, я ничуть не сомневался, так же как не сомневался, что мне эту комнату или чуланчик обязательно сдадут...

* * *

И вот я здесь. Правда, приехать ранней весной, в конце марта или в начале апреля, мне не удалось. Меня не отпустили с работы. Неожиданно заболел заведующий сельхозотделом, мой грозный газетный наставник (у него открылись давние фронтовые раны), и мне пришлось одному готовить и сдавать ответственному секретарю все материалы по веселому нашему отделу. А их требовалось бесчисленное количество, прорва: о заготовке и вывозке в поля органических и минеральных удобрений, о ремонте сельскохозяйственной техники и подготовке к посевной кампании, о надоях молока и привесах мяса, и о многих иных свершениях колхозно-деревенской жизни. Потом шли два «красных номера» к Первому мая и Дню Победы, и опять разговор об увольнении пришлось отложить.

Расстался я с газетой лишь после всенародных этих краснознаменных праздников. Наскоро собрав нехитрые свои пожитки в рюкзак и дембельский оклеенный изнутри фотографиями, на которых четко прослеживался весь мой боевой путь, начиная от первых дней службы (смешно мне было теперь смотреть на лопоухого немного испуганного мальчишку в первозданно-зеленой топорчащейся форме), и, заканчивая последними, я в тот же день уехал на рейсовом автобусе в Калининград, а оттуда на электричке в Зеленоградск-Кранц.

Весна на Куршской косе была в самом разгаре. На обочине шоссе цвели, казалось, все, какие только есть на свете, цветы и травы: желто-горячие лютики, луговые ирисы, зверобой, золототы-

сячник и медуница. Уже начинала расцветать сирень, которой в Калининградской области великое множество: и кипенно-белая, и нежно-голубая (сиреневая), и фиолетово-синяя и редко встречаемая в других местах – черная. Новорожденные листья на березах, осинах, липах и кленах были еще первозданно клейкими и липкими, но росли даже не по дням и часам, а по минутам и секундам. От них не отставали сосны: и высоко-матчевые, корабельные, и горные, танцующие. На кончике каждой ветки они стремительно выбросили вверх пушистые свечи с зелено-коричневыми шапочками наверху. Если затаить дыхание и присмотреться повнимательней, то обязательно заметишь, как при свете яркого весеннего солнца колыхнутся на кончиках свечей и трепещут в воздушном мареве голубые прозрачные огоньки.

Все птицы земли тоже, кажется, здесь: воробьи, синицы, ласточки, горлицы-голубки, грачи, сойки и вороны, скворцы, дятлы и филины, щеглы и королюки, не говоря уже про ястребов, коршунов и морских чаек, которые кружат высоко в небе, зорко оглядывая все земное и водное подвластное им пространство. Птичий грай, щебетанье и гомон стоят неимоверные: никто еще ни от кого не прячется, не скрывается, всё на виду, всё радуется весне и солнцу.

Вдоволь и зверья: белок, куниц, барсуков, лис, только что поменявших свой окрас зайцев, остророжих и неопасных еще волков, оленей, которые громогласно и призывно трубят где-то на материке. И над всем этим цветоносным, птичьим и звериным миром грозно и безраздельно властвует море. Оно тоже весеннее, молодое и юное: волны и валы его по-хмельному пенные и неостановимые. Они катятся и катятся один за другим на янтарный берег и почти стучатся в двери островерхого покрытого красной черепицей домика.

Постучался в дверь и я. Долго не было слышно ни единого шага, ни единого шороха, всё в доме замерло и не подавало никаких признаков жизни, но я неопровержимо знал, что кто-то в нем все-таки есть, что жизнь там не просто теплится, а бурлит, как бурлит всё вокруг, разбуженное весной. Во-первых, шторы и тюлевые занавески со стороны шоссе были широко распахнуты, распахнуты были и сами окна, и на подоконниках стояли в хрустальных старинных вазах два громадных букета сирени: один неправдоподобно белый (белее снега и кучевых облаков, которые как раз в это время проплывали над домом), а другой, наоборот, неправдоподобно черный (чернее самой глухой и непроглядной осенней ночи). Чувствовалось, что букеты поставлены на подоконниках совсем недавно, может быть, всего час или полтора тому назад: на них еще не успели просохнуть капельки утренней прозрачной росы.

А во-вторых, не была заперта калитка, и я, свернув с шоссе к домику, без всякого труда открыл ее и по этой беспечности хозяев сразу догадался, что они непременно дома – кто же бросает калитку незапертой на щеколду, отправляясь по каким-нибудь делам в город или на побережье, к морю. И, в-третьих, сегодня было воскресенье, выходной день (я специально выбрал для своего побега праздничный день), и, по моим расчетам, Мальвина и ее пока неведомая мне мама (об их папе в эти мгновения я решил не думать, запретил себе о нем думать) неразлучно сидят дома. Сходили к Куршскому заливу за сиренью (ее там видимо-невидимо, я заметил это еще прошлой осенью), поставили в вазы и теперь, любуясь букетами (белым и черным), либо пьют чай, либо читают вслух книгу про названного брата Мальвины, деревянного человечка Буратино.

Так оно и оказалось. Через несколько томительных (вечных для меня) минут наконец за дверью раздались легкие, стремительные шаги («бегущая по волнам», почему-то подумалось мне). Я замер и стал ожидать обязательного вопроса: «Кто там?»

Но его не последовало. Дверь широко и бесстрашно распахнулась, и передо мной предстала молодая, ничуть не удивленная моему появлению женщина, примерно моего возраста. Была она не очень высокого роста, но какая-то поразительно гибкая и подвижная. Еще на первом мартовском солнце она успела загореть тем особым обветренно-коричневым (будто песчаным) загаром, которым только и можно загореть возле моря, причем не южного, чрезмерно изнеженного и разомлевшего под влажно-горячими ветрами, а сдержанного, северного или прибалтийского – и только в марте.

Бесстрашно открыв дверь незнакомому человеку, хозяйка дома и тут ни о чем меня не спросила, а лишь в упор глянула на незваного гостя, как бы сразу вызвав и определив, кто я, что я и зачем пришел сюда, такими голубыми и такими бездонно глубокими глазами, перед которыми пронзительно-синие глаза моей осенней попутчицы мгновенно померкли, потускнели, и я их навсегда забыл.

Первое, что мне захотелось сделать, так это немедленно, сейчас же повернуть и уйти назад, не сказав хозяйке дома ни единого слова, потому что нельзя было себе представить, как можно будет

жить под одной крышей, под одним кровом с этой женщиной, с этими ее всезнающими глазами.

Но я все-таки не ушел, а, собравшись с силами, произнес давно заготовленную фразу, которая прежде мне казалась такой простой и естественной, а теперь (произнесенная) прозвучала и неестественно, и непросто (поддельно даже), словно я что-то скрывал и не хотел сказать открывшей мне дверь женщине всю правду:

– Нельзя ли снять у вас на лето комнату?

Женщина еще раз посмотрела на меня, выведывая все остатки моих тайн и сокрытий, и, кажется, уже приготовилась произнести краткое свое непреклонное решение: «да» или «нет», но потом оглянулась назад в глубину дома, и сердце мое опять замерло. Я представил себе, что сейчас из темных его запутанных лабиринтов выйдет в белоснежном морском кителе с широкими золотыми шевронами на рукавах испытанный всеми океанскими ветрами, штормами и бурями капитан (а в том, что мужем такой женщины может быть только капитан, я в это мгновение не сомневался ни капли). Посмотрев на меня, сухопутного незадачливого путешественника, он снисходительно усмехнется в усы (ах, какие у него должны быть усы! смолянисто-черные, непробиваемо густые, а может, даже и борода, точь-в-точь, как у Эрнеста Хемингуэя) и скажет, оберегая свое жилище от вторжения, снисходительно и насмешливо:

– Ну разве может быть у нас свободная комната?!

Но вместо грозного капитана с усами и бородой в коридор вприпрыжку вбежала, выпорхнула Мальвина. И я был спасен.

– А я тебя знаю! – скрывая все свои сомнения и страхи, сказал я. – Ты – Мальвина!

– Откуда вам известно, что она Мальвина? – словно подменяя где-то замешкавшегося капитана, улыбнулась хозяйка дома.

Но как улыбнулась?! Ни до, ни после я таких улыбок не видел: одними только уголками, кончиками обветренных губ – не улыбка, а всего лишь полуулыбка, треть улыбки или даже четверть. Так обыкновенные земные женщины не улыбаются. Так дарят, одаряют улыбкой только женщины, живущие на берегу моря, среди высоких сыпучих дюн, на вершинах которых во время шторма и бури поют свои загадочные мелодии влажные янтарные пески. И, кроме этих женщин, никто их не понимает – и понять не может.

Ни до, ни после не слышал я и такого голоса: с глубоким грудным дыханием и вечной тревогой, тоже поющего и серебряно-звонкого, услышав который, ты невольно вздрогнешь и никогда уже его не забудешь.

Я действительно вздрогнул и, совершенно не помня, о чем спрашивает меня хозяйка дома, долго слушал, как ее голос несмолкаемо звучит у меня в ушах, то удаляясь к морю, к дюнам и корабельных натянутым, будто струна, соснам, то возвращается назад, тысячу раз повторённый эхом, чтоб звучать еще звонче и чище.

Наконец я отвел взгляд от лица хозяйки дома, отрешился от ее голоса и выдал свою тайну:

– Прошлой осенью я видел Мальвину и слышал, как вы зовете ее.

Хозяйка дома ничего на это мое признание не сказала, нисколько не заинтересовалась и не удивилась ему, а, прижав к себе Мальвину (словно этим объятием посоветовалась с ней), вернулась к началу нашего разговора.

– Свободной комнаты у нас нет, – произнесла она опять с серебряным переливом. – Но есть свободная мансарда.

– Очень хорошо! – поспешно согласился я на мансарду, теперь уже и не помышляя о бегстве.

Впустив в коридор, хозяйка дома по крутой, отвесной почти лестнице повела меня вверх. Мальвина, пританцовывая и припрыгивая на каждой ступеньке, не шла, а, будто какой мотылек, летела, порхала сзади нас.

Во всех бывших немецких домах мансарды похожи друг на друга. За годы своей службы, да уже и после, я не раз и не два бывал на них у офицеров высшего начальственного состава, которые предпочитали казенным квартирам в многоэтажных домах-новостройках старинные немецкие особняки с добротными хозяйственными постройками во дворе: сараями, гаражами, погребами образцово ухоженными яблонево-грушевыми садами на задах. На одной из таких мансард я еще на первом году службы перестилал, имея кое-какие плотнишко-столярные навыки, полы по просьбе-приказанию только что заселившегося в дом нового начальника политотдела дивизии.

Как правило, мансарды были с трех окон: два квадратных на усеченной стене выходили в пали-

садник на проезжую улицу, а одно (в коридоре) – прямоугольное – во двор и сад.

Сразу за дверью, с левой стороны, возвышалась обложенная кафелем печка-голландка. Обстановка и убранство на мансардах тоже мало чем отличались друг от друга. В простенке между окнами стоял старинный немецкой работы письменный стол, возле глухой самой высокой стены кожаный диван или никелированная кровать, могло быть еще плетеное кресло-качалка, а рядом с ним какая-нибудь тумбочка. Все по-немецки прочно и расчетливо, ничего лишнего и случайного.

Мансарда, куда меня привели хозяйка дома и Мальвина, была точно такой же: печка-голландка, кожаный диван, письменный затянутый зеленым сукном стол, тумбочка. И все же – не такой! Совсем не такой! Два окна ее выходили не на проезжую вымощенную булыжником улицу, а на море. Под напором штормового ветра они скрипели и, как показалось мне, раскачивались вместе с домом, так похожим на корабль-парусник, который неудержимо мчится по волнам, то взлетая на высокий их пенистый гребень, то проваливаясь в бездонную морскую пучину.

– Располагайтесь, – повелительно сказала хозяйка дома и хотела уже было уходить, но я, преодолевая всю свою робость и стеснительность, вдруг остановил ее:

– Нам, наверное, надо познакомиться.

– Наверное, надо, – тая в устах странную свою полуулыбку, сдержанно ответила та на неуклюжие мои слова.

– Меня зовут Николаем, – назвался я, опять обуреваемый сомнениями: протягивать ей руку или не протягивать, положено это делать или не положено при знакомстве с женщинами.

– А меня, – начала было хозяйка дома, но на минуту замешкалась и стала поправлять развязавшийся у Мальвины на косичке бантик.

Пока она перевязывала его и расправляла, чтобы он был похож на бутон цветка белой розы (нет, на бутон белой лилии), потому что роза очень колючая и Мальвина может пораниться ее шипами, я почему-то подумал, что имя у этой необычной женщины тоже должно быть каким-нибудь необычным, Ассоль, например, или любое иное, гриновское, рассказами, повестями и романами которого мы тогда начинали зачитываться и часто не знали, кому отдать предпочтение – Александру Грину или Хемингуэю.

Но имя у нее оказалось самым обыкновенным, встречающимся на каждом шагу, хотя и библейским.

– Мария! – произнесла она его тоже совсем обыкновенно и буднично, но для меня в ее устах это имя прозвучало торжественно и возвышенно, отозвалось гулким эхом в полупустой комнате и заставило меня почему-то вздрогнуть. И уж совсем я пришел в смущение, когда Мария сама подала мне загорелую свою тонкую ладонь. Я ожидал, что рукопожатие ее будет слабым, едва заметным (а ладонь непременно холодной, озябшей), но Мария обманула меня: рука ее оказалась и сильной и горячей, и легко усмиряющей любое волнение.

*Аве, Оза, –
Ночь или жилье,
Псы ли воют, слизывая слезы,
Слушаю дыхание твое,
Аве, Оза, –*

неожиданно вспомнил я стихи Андрея Вознесенского, прошептал про себя, вставив вместо вымышленного имени Оза имя Марии, которое должно было там стоять и стояло всегда:

Аве, Мария!

Это были совсем иные слова и совсем иные стихи, их сочетание, несколько не похожие на те, что я произносил прошлой осенью возле студенческого костра на сон грядущий утомленной походом вдоль моря с пограничниками девчонке-попутчице. Она так и осталась в моей памяти всего лишь попутчицей. А здесь все было не так, все по-другому:

Аве, Мария...

Её ладонь из своей вмиг онемевшей (окаменевшей даже) ладони я выпустил с таким сожалением, как будто, едва успев ощутить, терял навсегда.

Стараясь как-то смягчить эту потерю, я перевел взгляд на Мальвину и с чрезмерным возбуждением спросил о ее странном имени:

– А Мальвину действительно зовут Мальвиной?

– Что вы! – прижала к себе дочь Мария. – Её зовут Машей. Мальвину она сама придумала, чтоб не было между нами путаницы. Я и согласилась.

Из всего этого признания Марии меня больше всего поразило, что она сказала «я», а не «мы», то есть она с мужем или с кем-то еще, кто обитает в доме: с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой Мальвины, которые могли быть. Но она сказала «я» и тем выдала, что никаких иных обитателей в доме нет и, главное, нет мужчины, её мужа. Я это понял и почувствовал сразу, как только вошел в коридор. На старинной деревянной вешалке я не заметил никакой мужской одежды: пиджака, ветровки или прорезиненного плаща с капюшоном, столь необходимого хозяину дома на морском побережье, и тем более не заметил (а заметить ожидал) черной морской фуражки с белым ободком по околышку и разлапистым капитанским «кребом» на высокой тулье. У подножья вешалки на тумбочке-галошнице не было ни мужских ботинок, ни сапог, ни расхожих домашних тапочек.

Еще больше укрепилось мое мнение в том, что мужчины в доме нет, когда я поднимался по лестнице на мансарду. Перила на ней были опасно расшатаны, а одна ступенька с левой глухой стороны держалась на честном слове. Починить и перила, и ступеньку в общем-то ничего не стоило: опору на перилах надо было снять и расклинить у основания, а ступеньку прижать гвоздями или заменить вовсе – похоже, она подгнила. Но заняться этим мелким обиходным ремонтом явно было некому...

На мансарде Мария не задержалась ни на минуту.

– Располагайтесь! – сказала она и, увлекая за собой Мальвину, легким шагом спустилась вниз.

Я стал располагаться. Небрежно бросив на диван рюкзак и дембельский чемодан, подошел к столу и широко распахнул выходящие в сторону моря окна. В комнату сразу ворвался влажный морской ветер, напоенный весенними запахами цветов, молодой травы, хвои и едва-едва распутившихся листьев. Море, до этого какое-то далекое и с трудом угадываемое по шуму прибоя, вдруг приблизилось и грозно зарокотало, как будто хотело выброситься на сушу, устав от постоянно терзающих его ураганов и штормов. И, наверное, выбросилось бы, если бы на его пути не встал кирпично-красный дом с высокой мансардой.

Соленые морские брызги, морось долетели до распахнутого окна и омыли мне запыленное лицо. Я пришел от их прикосновения в юношеский неопишуемый восторг и решил тут же, немедленно, сесть за стол и начать писать свой до самых мелких деталей продуманный и осмысленный роман. (Так, наверное, перед открытым, выходящим на море и океан окном писал рассказы и романы Эрнест Хемингуэй).

Достав из чемодана пачку бумаги, я разложил ее на зеленом сукне стола, вооружился специально заведенной для этого самопишущей дорогой ручкой и уже приготовился было вывести первую давно заготовленную фразу, как вдруг сквозь рокотание прибоя мне послышался какой-то странный, похожий на завывание сквозняка звук. Вначале я подумал, что это и на самом деле сквозняк, который образовался, когда я открыл на мансарде окна. Чтоб сквозняк прекратился и не мешал мне думать и сосредоточиваться, надо было поплотнее прихлопнуть входную дверь.

Я так и сделал. За увесистую медную ручку посильнее притворил дверь, потом обследовал, нет ли где у порога щелей, сквозь которые и свистит пронзительный, отвлекающий меня от работы ветер. Но щелей нигде не было: тяжелая наборная дверь по всем косякам и порогу прилегала плотно, без единого зазора – все-таки она была сработана каким-то немецким педантичным мастером. Тогда я на всякий случай проверил еще и вьюшку на печке-голландке, хорошо помня по деревенскому своему детству, что ветер чаще всего как раз и завывает в трубе, если вьюшка или чугунные парные кружки закрыты неплотно. Но никаких зазоров и щелей я не обнаружил и на вьюшке.

Успокоенный, я вернулся назад к столу и замер над чистым, не тронутым еще ни единой буквой и помаркой листочком. Но как только я вознамерился написать первое слово, так тут же снова раздался пронзительно-острый, отвлекающий меня от сокровенных мыслей звук. Я попробовал закрыть окна, но звук этот проникал и сквозь закрытые окна, изводил и мучил меня. Я совсем раздосадовал, и не столько от самого звука, сколько оттого, что никак не мог понять, откуда он исходит.

Я опять распахнул окна – звук усилился, и тогда я вдруг вспомнил все рассказы и легенды о

дюнах, о поющих песках и сразу успокоился, не находя в их пении ничего для себя опасного и страшного. Пусть поют и воют, нагоняя тоску и уныние на людей малодушных и робких, а мне под их пение лишь будет лучше и отрадней работать, как отрадней было когда-то думать и мечтать о дальних странах на деревенской своей русской печке под завивание сухопутного ночного ветра в трубе.

Я подвинул поближе к себе листочек, размашисто написал в правом верхнем уголке свое имя и фамилию, потом высокими печатными буквами начертал название романа и занес уже ручку, чтоб как можно скорее записать первую фразу, а то вдруг она забудется или слова в ней перепутаются, поменяются местами, и смысл, тысячу раз повторенной этой моей фразы в уме, потеряется, станет совсем иным. Но в это мгновение входная дверь у меня за спиной широко распахнулась; листочек от порыва ветра предательски выскользнул из-под моих рук и закружился рядом со столом. С трудом догоняя его и удерживая, я оглянулся и увидел на пороге Мальвину.

– Мама зовет вас пить чай, – весело и задорно прокричала она и, не дожидаясь от меня ответа, стремглав побежала вниз.

Заходящее солнце, прорвавшись сквозь узенькое коридорное оконце, на долю секунды осветило ее заплетенные в косички волосы – и они мне опять показались голубыми, как у сказочной девочки Мальвины.

Уклониться от приглашения на чай мне было неудобно, некрасиво, хотя я и досадовал, что моя работа прервана в самом начале; вдохновение, еще по-настоящему не придя ко мне, погасло, и сегодня его, скорее всего, назад уже не вернешь.

Я спрятал листочек в ящик стола, решив, что начну работу завтра рано утром, с восходом солнца, и никто мне в ранние эти часы помешать не сможет. А сейчас – что же – деваться некуда, надо идти на чаепитие и познакомиться с приютившими меня хозяевами дома поближе.

Я добыл из рюкзака бутылку сухого болгарского вина, которую купил еще в Калининграде, словно предвидя подобное знакомство и подобное чаепитие.

Стол был накрыт почти по-студенчески небогато, но с редким знанием сервировки, как умеют это делать только женщины, которым подобное знание и умение передалось по многолетней, а может, и многовековой семейной традиции. Похоже, в своих догадках я не ошибся: чашки, блюдечки и вся иная посуда на столе стояла тонкого, наверное, фамильного фарфора, к которым мне, привыкшему пить чай из солдатских эмалированных кружек, страшно было прикасаться.

Скрывая смущение и робость, я с деланной отвагой водрузил на стол бутылку вина и сказал, как привык говорить это в своих солдатских, студенческих или деревенских застольях:

– Гулять, так гулять!

К моему удивлению, Мария ничуть не смутилась такому началу нашего чаепития, как будто именно на него и рассчитывала и заранее была готова к моему нахальству.

– Ну что ж, будем гулять! – опять едва заметно, в четверть улыбки, усмехнулась она.

Пока Мария ходила на кухню за высокими хрустальными бокалами и старинным латунным штопором, я оглядел комнату, пытаюсь найти в ней какие-нибудь признаки присутствия мужчины. Но ничего даже отдаленно намекавшего на то, что мужчина живет здесь постоянно или хотя бы бывает время от времени, я не обнаружил. Точно так же, как и в коридоре, в комнате не было ни единой мужской вещи: ни рубашки, ни костюма, ни, к примеру, капитанской курительной трубки, которая вполне могла бы лежать на подоконнике, прячась за цветочными вазами. На стенах не было ни единой мужской фотографии, что совсем уж показалось мне странным. Впрочем, нигде не заметил я и фотографий Марии – всюду одна только Мальвина, Мальвина и Мальвина.

Мне впору было радоваться такому открытию, но я вдруг испугался его. Если бы в доме был или предполагался быть мужчина (пусть он сейчас в отдалении, в отъезде, но он есть), я бы чувствовал себя гораздо спокойней и уверенней: он надежно защищал бы меня от необдуманных слов, неосторожных взглядов и неверных легкомысленных поступков. Но мужчины, увы, не было.

Бутылку я откупорил не очень умело, ещё более неумело разлил вино по бокалам, обронив несколько капель на белоснежную скатерть.

Подняв свой бокал за высокую хрупкую ножку, я на правах мужчины, гостя и постояльца приготовился говорить тост, хотя, может быть, его полагалось бы говорить как раз хозяйке дома, а ещё лучше бы хозяину. Но всех этих тонкостей этикета я не знал, не был им обучен и, пренебрегая ими, сказал, как умел – и опять, кажется, невпопад, по-солдатски и по-деревенски грубо:

– За встречу!

Мария минуту помедлила, а потом, порывисто прикасаясь к моему почему-то суетно вздрагивающему бокалу своим звонким и непоколебимо устойчивым, осторожно, но настойчиво поправила:

– За знакомство!

Стыдась своей деревенско-солдатской грубости, я поспешно согласился с её поправкой. Действительно, какая неодолимая разница была между этими нашими тостами: «За встречу!» и «За знакомство!». Встреча всегда нетерпеливо ожидаемая и желанная (я по простоте и недомыслию сразу и выдал это свое желание), а знакомство может быть вполне случайным, мимолетным и ни к чему не обязывающим.

От волнения, что допустил такую оплошность и ошибку, я едва не обронил бокал. Выручила меня опять Мальвина. Она поочередно чокнулась со мной и Марией маленькой своей фарфоровой чашечкой, наполненной чаем, и вдруг по-детски пронзительно и звонко сказала, наверное, где-то раньше подслушав у взрослых самый простой, обязательный в любом застолье тост:

– За здоровье!

Мы оба, я и Мария, невольно улыбнулись ее словам, сразу сгладившим все наши иносказания, и выпили до дна сухое болгарское вино, пахнущее виноградом, солнцем и далеким Черным морем. По этикету, по застольному строгому правилу пить вино до дна, до самого доньшка, наверное, не полагалось, но мы по-молодому выпили его до дна, и мне это очень понравилось.

Мальвина точно так же выпила до глубокого доньшка чай и, изображая усталость, откинулась на спинку стула. Мария поправила у нее на платье подвернувшийся воротничок, а я вдруг засове-стил перед своей спасительницей. Как же это так, собираясь сюда, на Куршскую косу и зная, что в пригласившемся мне домике живет девочка Мальвина, я не купил ей и не привез никакого подарка. Сейчас в этом виниться, конечно, не надо: смутится и Мария, и Мальвина, но в ближайшие дни я свою ошибку исправлю, специально съезжу в Зеленоградск или даже в Калининград и куплю Мальвине самый дорогой подарок, перед этим выведав, что ей больше всего на свете нравится.

Белое болгарское вино было совсем слабым, но я все равно от него чуть-чуть захмелел, почувствовал себя свободней и раскованней и через несколько мгновений, услышав, как и сюда, в комнату, доносится сквозь открытое окно поюще-пронзительный звук, спросил Марию:

– Это поют пески?

– Что вы! – искренне удивилась она моему неведению. – Это у нас на крыше установлен флюгер, он и беснуется (так и сказала с некоторым даже раздражением – «беснуется») во время ветра. Пески поют совсем не так. Их надо слушать на дюнах, и лучше всего на Королевской.

– А вы сводите меня туда как-нибудь? – опять с недопустимым нахальством спросил я.

Мария снова немного помолчала, налила мне полную чашку горячего черно-густого чая и лишь после этого сказала неопределенно и уклончиво:

– Как-нибудь свожу...

Из этих ее уклончивых слов трудно было понять, действительно она сводит меня на дюны или завтра же забудет о своем обещании.

Низко склонившись над чашкой, я никак не мог придумать, о чем бы еще спросить Марию, как продолжить разговор. Надежды на то, что она продолжит его сама, у меня никакой не было. Мария сосредоточенно пила чай и, кажется, совершенно забыв о мне, уже томилась моим присутствием. Мне впору было рассердиться на нее: если запомнила, если томится, то зачем звала?! Я бы сейчас сидел у себя на мансарде за письменным, так понравившемся мне столом и вдохновенно писал бы уже не первую и даже не вторую и не третью, а может быть, пятую или десятую страницу романа, и ничто бы не смогло мне помешать: ни беснующийся флюгер на крыше дома, ни поющие пески, ни рокочуще-шумный морской прибой.

Но она зачем-то позвала. Пусть ради только одной вежливости и гостеприимства, это совершенно неважно – главное – что позвала.

Украдкой я посмотрел на смугло-загорелое отрешенное лицо Марии, и мне показалось, она в эти минуты была не здесь, не за чайным столом, рядом с незнакомым ей и посторонним человеком, а где-то очень далеко, но где и с кем, о том знать никому не позволено.

– Вы давно здесь живете? – наконец все-таки нарушил я томительное молчание и вернул Марию назад в дом, к себе.

– Я здесь, считай, родилась, – вздрогнула она от моего излишне громкого голоса и действительно торопливо и послушно вернулась назад.

– А родители ваши живы? – не совсем понял я это ее «считай».

– Нет, они погибли, – чутко уловила Мария мои сомнения. – Я детдомовка. А ваши?

– Отец погиб, а мать жива, – почувствовал я перед ней свою невольную вину: Мария круглая сирота, а я всего наполовину, рос и воспитывался при матери и бабушке. О детдомах я слышал лишь вскользь и очень боялся их – там все люди чужие и, как мне казалось, очень недобрые.

Отодвинув чашку, я хотел переменить трудный наш, не ко времени затеянный мной разговор и задать гостеприимной хозяйке совсем иной, более веселый и легкий вопрос, но Мария вдруг опередила меня.

– А вы, наверное, родились в России? – спросила она с какой-то странной ноткой зависти (а может, вовсе и не зависти) в голосе.

– В России! – с гордостью ответил я. – Вернее, на Украине.

– Ну это все равно, – вздохнула она, и нотка зависти в ее голосе как будто пропала.

Мальвина, мало чего понимая в нашем разговоре, прилежно сидела за столом, подперев двумя ладошками голову. Но как хорошо, что она сидела, а не убежала куда-нибудь гулять, оставив нас с Марией одних. Я бы тогда совсем растерялся и не знал, как вести себя дальше, о чём еще и как говорить.

– А я в России не была ни разу, – вдруг призналась мне (и как удивила меня) Мария.

– Совсем не были? – не в силах и не сразу смог поверить этому ее признанию я.

– Совсем не была, – улыбнулась она в ответ на мое удивление и опять замолчала.

– Я свожу вас туда! – вспыхнул я и загорелся желанием исправить это ее упущение. – Вы поедете?

– Если повезете, – вполне серьезно сказала она.

Я сразу представил себе, как мы едем с Марией в поезде, как пьем чай в уютном затененном купе, как, почти соприкасаясь лицами, смотрим в окошко на мелькающие мимо большие и малые города, деревни и села, бескрайние (до самого горизонта) поля, озера и реки, леса и перелески. Общаясь с Марией, конечно же, уже на «ты», я рассказываю ей о России, об этих полях, реках, лесах и перелесках, а она все слушает меня и слушает и тоже говорит «ты».

И я действительно начал рассказывать Марии о России, но почему-то не обо всей сразу, а только о своей деревне, о своем доме с глиняным полом, приземистыми окошками, завалинкой и громадной русской печкой с примыкающей к ней продольной лежанкой, возле которой так хорошо сидеть зимними холодными вечерами. А еще я рассказывал Марии о своей маленькой, но быстротечной речке, о ее заливных правобережных лугах-займищах, о березняках и ольшаниках, где мы когда-то в детстве так любили играть в войну, о картофельных и ржаных (житных) полях, одинаково прекрасных, что в раннюю пору цветения и выбрасывания колоса, что в зрелую уже, предосеннюю, когда колос налит и с каждым днем все твердеет и твердеет, а картофель буйно завязался и растет в глубине земли не по дням, а по часам. Отдельно (и по-особому доверительно) хотелось мне рассказать Марии о небольших прибрежных низинках, влажных впадинках, засеянных льном. Поздно вечером, уже почти в сумерках, ярко-голубые его цветочки широко раскрываются (и надо поскорее увидеть их и насмотреться на них!), а рано поутру, едва блеснут первые лучи солнца, плотно-наплотно закрываются, чтоб никому не выдать тайну своего цветения. Но я немного помедлил и не рассказал об этом Марии, потому что всего рассказать о России все равно нельзя: ее надо увидеть и пережить.

Я ожидал и надеялся, что Мария тоже что-либо расскажет о себе, о своем детстве, о своей жизни здесь, вдалеке от России и Украины. Но она ничего не рассказывала, а лишь пила, уже не чокаясь, вино да смотрела (намеренно или ненамеренно) мимо меня, в окошко, то на букеты черной и белой сирени, то еще дальше, в непроглядную темноту надвигающейся ночи.

Мне, наверное, надо было вежливо попрощаться, поблагодарить за угощение и уйти. Для первого раза, для знакомства вполне хватит, а что будет завтра, послезавтра или через неделю, о том лучше не загадывать.

Но уходить мне так не хотелось. Не хотелось этого и Мальвине. Еще тверже подперев ладошками подбородок, она готова была слушать меня хоть всю ночь, принимая мои рассказы за настоящую сказку. Да они, в сущности, такими и были.

Я остался, но, разочаровывая Мальвину, сидел молча (все вроде бы было уже рассказано) и, тоже в одиночку, украдкой пил вино. Так прошло минут пять-шесть, показавшихся мне целой вечностью. У Мальвины уже начали слипаться глаза. И тогда я, отдаляя расставание, осмелел и задал Марии вполне естественный при знакомстве вопрос:

– А вы где работаете?

– В Зеленоградске, в библиотеке, – ответила Мария, легко оторвавшись от созерцания цветов и ночной темноты.

– А с кем же тогда остается Мальвина? – допытывался я дальше.

– Ни с кем не остается, – еще легче разгадала Мария весь незамысловатый подтекст моих вопросов. – Мы ездим с ней на велосипеде в Зеленоградск, и, пока я работаю, Мальвина играет во дворе библиотеки.

– А в другой раз, – преодолевая свою дрему, неожиданно вмешалась в наш разговор Мальвина, – я хожу к бабе Насте.

– А кто такая баба Настя? – спросил я сразу обеих своих собеседниц, надеясь услышать в ответ, что это их родная бабушка (по отцу или по матери). Но услышал совсем иное.

– Это моя давняя знакомая, – словно укоряя меня за назойливость, с небольшим нажимом ответила Мария. – Мы с ней дружим. Она живет здесь с самой войны.

Такого пояснения о бабушке, бабе Насте, Мальвине показалось мало, и она, будто связывая узелок за узелком тоненькую ниточку-паутинку, которая протянулась между мной и Марией, сказала о ней самое главное и важное для себя:

– У бабы Насти есть большая собака и куры.

Мы с Марией не выдержали и невольно рассмеялись этому ее серьезному и обстоятельному рассказу, и ниточка между нами, как мне показалось, упрочилась и уже не грозила порваться от случайного порыва ночного ветра.

Вот теперь мне уже точно можно было (и надо было) уходить. И я, пожелав хозяевам дома спокойной ночи, действительно ушел к себе наверх, хотя втайне надеялся, что они меня еще на полчаса, а то и на целый час задержат.

Спать мне не хотелось, не хотелось ничего ни писать, ни читать, не хотелось даже думать. Я долго сидел возле открытого окошка, слушал монотонный шум прибоя, скрип расшатавшейся рамы, веселое пение на крыше дома беспокойного флюгера, и было мне в тот вечер и в ту ночь так хорошо, как никогда прежде...

* * *

Проснулся я спозаранку, сделал ободряющую армейскую зарядку, попил чаю, закипятив его тоже сугубо армейским испытанным способом и приспособлением – самодельным кипятильником из двух лезвий от безопасной бритвы. С моря дул свежий влажно-упругий ветер, доносился едва слышимый шум прибоя, на крыше волновался, лопотал флюгер: все располагало и побуждало к работе. Вдохновение кружило и туманило голову. Я уселся за стол и, священнодействуя, заново разложил листочки: чистые – высокой стопочкой с правой стороны, а озаглавленный вечером – чуть наискосок, по-школьному, прямо перед собой и, вспоминая слово за словом первую фразу романа, начал выводить ее по возможности ровным и разборчивым почерком. В это, столь ранее, томительно-теплое начавшее разгораться утро ничто, казалось бы, не могло помешать мне, не могло и не смело отвлечь от работы, вспугнуть вдохновение, все больше и больше овладевавшее мною.

Так бы оно, скорее всего, и случилось, если бы я, написав первую фразу, не задумался над второй и в этой напряженной задумчивости не взглянул в просторно открытое окно. И в одну минуту все вдохновение мое погасло, разрушилось и отлетело, гонимое ветром в высокое безоблачно-синее небо, а вместо него вспыхнули во мне вначале тревожно-холодный озноб, а потом испепеляюще-жаркий огонь. Вдоль морского прибоя, глубоко проваливаясь босыми ногами в морской песок, шла Мария. Я сразу догадался, она ищет и собирает при первых лучах восходящего солнца янтарные искрящиеся камушки. Мария часто наклонялась к песчаному наплыву, разгребала случайно подобранной палочкой прибрежную гальку и вдруг надолго замирала, разглядывая на ладошке найденный камушек. Подол ее длинного бледно-сиреневого платья окунался в воду, намокал и становился по ночному темным и, наверное, тяжелым. Но Мария не замечала этого, была равнодушна и к темноте, и к тяжести, вся поглощенная и сосредоточенная на разглядывании и узнавании камушка. По крайней мере, мне так казалось издавна, из открытого, распахнутого настезь окошка.

Отложив в сторону листочек и ручку, я долго и сосредоточенно следил за ней, словно заново узнавая Марию, но потом вдруг засовестился своего подглядывания, закрыл окно и резким движением задернул штору. На мансарде сразу стало душно и пыльно, как будто в нее ворвался суховеинный

смерч и всю засыпал раскаленным песком южной африканской пустыни...

Осторожно ступая по скрипучим ступенькам лестницы, чтоб не разбудить Мальвину, которая, судя по всему, еще спала, я спустился вниз, несколько минут постоял у подъезда в сомнении, идти дальше или, может быть, лучше не идти, не обнаруживать себя, а повернуть назад – и все-таки преодолел свою нерешительность и пошел к морю, к Марии.

– Доброе утро! – неестественно бодрым голосом поздоровался я с ней, делая вид, что оказался здесь, у моря, совершенно случайно.

– Доброе утро! – ответила Мария, кажется, ничуть не удивившись этой моей случайности.

О чем ещё говорить, я не знал, заранее не придумал ни на мансарде, тайно наблюдая из окна за Марией, ни на лестнице, ни позже, когда почти бежал к Марии по холодному влажному песку. Но говорить что-то надо было, иначе зачем бежал...

– Вы почему не спите? – спросил я первое, что пришло в голову.

– Я по утрам собираю янтарь! – с улыбкой простила она мне мою невоспитанность. – А почему не спите вы?

Застигнутый врасплох, я оказался совершенно неготовым к такому вопросу, растерялся и стоял перед ней, словно провинившийся школьник перед учительницей. Сказать Марии всю правду и признаться в том, что я поднялся в такую рань, чтоб писать роман, у меня не хватило мужества. В эти мгновения все мое сочинительство показалось мне пустым и ничтожным занятием, которому я самонадеянно предался, воображая себя писателем. А на самом деле никакого писательского таланта у меня нет, и вскоре я брошу все эти глупости, окончу педагогический институт и уеду по направлению в какую-нибудь сельскую школу, чтоб преподавать там русский язык и литературу, как это делают сотни и тысячи моих сверстников.

Но наконец я все-таки нашелся и обманул Марию:

– Меня разбудил флюгер!

– Ничего, привыкнете, – уже без всякой улыбки, вполне серьезно успокоила она меня и опять начала ворошить палочкой гальку.

Закатав повыше штанины брюк, я тоже зашел в воду и принялся внимательно наблюдать за поиском Марии. Но на этот раз она ошиблась, и янтарно блеснувшая под лучами солнца крупинка оказалась обыкновенным камушком-песковиком. Мария оттолкнула его палочкой, несколько не огорчившись своей неудаче. Я самовольным, непрошеным согладатаем пристроился рядом с ней, стараясь, правда, ничем не мешать Марии и идти чуть в стороне и позади нее.

Ни о чем больше спрашивать Марию я не осмелился, боясь опять попасть впросак, огорчить и её, и себя. Да никакой надобности у нас в разговоре и не было: Мария сосредоточенно и внимательно искала янтарь, а я делал вид, что обучаюсь у нее этому искусству.

Так, шаг за шагом мы и шли с Марией вдоль побережья, вроде бы и рядом, вроде бы и вместе, но в то же время совершенно отдельно, порознь, каждый сам по себе. Заново обнаружили мы друг друга лишь у подножья первой попавшейся нам на пути невысокой дюны.

Вблизи, всего с расстояния в несколько метров я видел дюну впервые. Она показалась мне очень похожей на песчаный курган у нас, в селе, образовавшийся по преданиям на месте древнего монастыря. Отличалась она от кургана лишь тем, что была поросшая не полынью, нехворощью и вездесущим дурнишником, а какими-то серо-зелеными широколистыми и колючими растениями, которые, наверное, только и могут расти на песчаных дюнах возле моря. Было еще одно, тоже, несомненно, морское отличие. На склоне, обращенном в сторону моря, песок лежал не сплошным покровом, а неширокими ступенчатыми наплывами, напоминавшими крутую лестницу. Образовалась она, должно быть, под напором штормового, ураганного ветра, долетавшего сюда с Северного моря и Атлантического океана.

Мне захотелось тут же подняться на вершину дюны и посмотреть с высоты вначале на тихий Куршский залив, а потом на янтарно-темное, даже в эти ранние часы вздымающееся тяжелыми волнами и пенными кружевными бурунами на гребнях море.

Точно так же я поднимался давным-давно, в детстве, на монастырский наш курган, смотрел, заклоняясь от солнца ладошкой, вначале на утопающее в садах и раскидистых осокорях село, а потом поворачивался лицом к реке, на берегу которой когда-то и был построен Богородицкий мужской монастырь, и смотрел на заливные равнинные луга, заросшие до самого горизонта густой некошеной травой. Мне хотелось заглянуть и дальше, за горизонт, но его застил далекий Милоградовский лес,

во всем таинственный и недоступный для меня, совсем еще мальчишки.

Мне все это наяву представилось и вспомнилось, и я действительно вознамерился сейчас же, не медленно, подняться на дюну, с вершины которой заглянуть за горизонт ничего не стоит.

Но Мария, догадавшись о моих намерениях, вдруг остановила меня, уже шагнувшего было на первую ступеньку дюны. Из накладного кармана платья она достала целую горсточку янтарных камушков, выбрала один, самый крупный с застывшей внутри, может быть, тысячу лет тому назад мушкой и протянула мне:

– Возьмите на память. Он приносит счастье.

– А не жалко? – суеверно попробовал отказаться я от подарка.

– Нет, не жалко, – беспечно ответила Мария. – Берите, пока не передумала. У меня счастья через край.

По этим ее лишь внешне беспечным словам я понял, как раз счастья у Марии нет или было, но очень давно. Так давно, что она о нем уже забыла. Но, возможно, я и ошибался, ведь Марии всего двадцать два-двадцать три года, и все счастье у нее еще впереди. По крайней мере, о себе я именно так и думал. Самое трудное испытание – армия – у меня уже в прошлом, а в будущем веселая студенческая пора, беззаботная жизнь в общежитии, походы во главе с каким-нибудь молодым аспирантом в окрестные леса, костры на берегу реки, тревожно беспокоящие душу песни под гитару:

Ах, какие удивительные ночи...

Принимая дорогой подарок, я хотел было сказать Марии что-нибудь успокоительное насчет счастья и будущего или хотя бы пообещать, что с таким драгоценным подарком-талисманом я непременно буду счастлив. Но Мария не позволила мне больше произнести ни единого слова. Она запрокинула голову, вприщур посмотрела на солнце и, только по одной ей известным приметам точно определив, который теперь час, сказала:

– Нам пора. Мальвина уже проснулась.

* * *

Назад мы шли скорым, поспешным шагом, нигде не останавливаясь и не задерживаясь, хотя мне несколько раз казалось, что вон там и там, в россыпи песка и гальки таится янтарный крупный камушек, возможно, даже и с запечатленной в нем мушкой – самый счастливый из всех, которые когда-нибудь и кто-нибудь находил. Но задерживать Марию я не посмел и, тяжело дыша, словно во время армейского десятикилометрового марш-броска с полной выкладкой, шел рядом, лишь изредка позволяя себе посмотреть, как наши тени под лучами солнца переплетаются на прибрежном песке...

В подъезде Мария попрощалась со мной без прежней отверженности, которая мне послышалась в ее голосе возле дюны, а непринужденно и буднично, хотя я и уловил (или мне так показалось), что будничность эта какая-то нарочитая:

– Не скучайте! Мы вернемся после семи.

– Постараюсь! – тоже с нарочитой бодростью ответил я, уже начав скучать сейчас же, вот в это мгновение, еще не расставшись с Марией.

* * *

Я поднялся по лестнице наверх, но сразу в комнату не пошел, а встал в коридорчике возле окошка, которое выходило во двор, в надежде еще раз увидеть Марию.

И вскоре действительно увидел ее. Минут через пятнадцать-двадцать она вышла во двор вместе с принаряженной и озорно подпрыгивающей с одной ножки на другую Мальвиной. Из кирпичного, по-готически островерхого сарайчика они выкатили сияющий черным лаком давнего немецкого производства велосипед.

Такие пугающе-черные трофейные велосипеды, все искореженные и поломанные, я хорошо помнил по своему послевоенному детству. Их побросали в сорок третьем году отступающие немецкие войска в непроходимых наших лесах и чащах, на полевых песчаных дорогах, в торфяных болотных лугах, где не то, что на велосипеде, но и пешим порядком пробраться не так-то просто. Два или три велосипеда ребята постарше кое-как собрали и на зависть нам, едва-едва начавшим ходить и разговаривать малышам, носились на них по деревенским улицам. Но здесь, в Восточной Пруссии,

велосипеды эти были не трофейными, а природно-своими, и чернота их не казалась столь пугающей и отталкивающей.

Мальвина легко и привычно, с небольшой лишь поддержкой Марии взобралась на раму, и они покатили в сторону Зеленоградска по самой кромке еще влажного и пустынного шоссе.

Я следил за отважными велосипедистами, сколько можно было следить, пока они не скрылись за поворотом и не растаяли в неожиданно повисшем над шоссе туманом. Мне невольно вспомнился мой родной, изготовленный на минском заводе дорожный велосипед нежно-зеленого, словно первая майская зелень, цвета, с голосистым звоночком на руле. Будь он теперь со мной, я бы, ни минуты не раздумывая, вскочил на него и помчался вслед за Марией и Мальвиной, чтоб сопровождать их до самого Зеленоградска-Кранца. Но мой выдавший виды велосипед стоял сейчас далеко в России, у меня в доме, в дровяном сарае или в повети, заботливо прикрытый матерью попоною, и терпеливо дожидался своего хозяина в полном одиночестве и забвении.

Проводив Марию с Мальвиной последним прощальным взглядом, я вошел наконец в комнату, подобрал разбросанные ветром по всему полу злополучные свои листочки, положил на подоконнике подаренный Марией «счастливый» камушек и попробовал опять настроиться на работу. Но у меня ничего не получалось, хотя я старался с предельным вниманием сосредоточиться на очередной фразе, по несколько раз перечитывал предыдущую, менял в ней слова местами, находил новые, которые казались мне гораздо лучше написанных прежде. Вдохновение как будто уже и вернулось ко мне, привычно окутало теплом и жаром голову, и все-таки я не мог продвинуться в работе ни на шаг. Что-то мне упрямо мешало, удерживало и мысли, и руку. Поначалу я думал, это шум прибора, лопотание флюгера на крыше или монотонное гудение проносившихся по шоссе машин. Точно так же, как и вчера, я поплотнее закрыл окно, но затворничество это мне ничуть не помогло. Шума прибора, посвистывания флюгера и гудения машин теперь было почти не слышно, но работа у меня по-прежнему не ладилась: слова либо не находились вовсе, либо находились, но совсем не те, которые были нужны и которые я чувствовал в воспаленной своей голове. И вдруг я понял, в чем тут дело, что мне мешает и не дает по-настоящему сосредоточиться. Взгляд мой упал на подарок Марии – янтарный камушек с запечатленной в ней мушкой, и я безошибочно определил – он всему вина и помеха. Я спрятал камушек в ящикек стола, но получилось еще хуже. Из темноты и заточения камушек будто обжигал меня невидимыми лучами, манил к себе, просился в руки. Впору было взять его и с отчаяния выбросить назад в море. Я с трудом удержался от необдуманного этого поступка (как после и чем оправдаюсь перед Марией?!), но работу оставил, резко смел со стола все листочки и едва не изорвал их на мелкие клочки...

Продолжение следует.



Эльдар БАДЫРХАНОВ

*Продолжение. Начало в №6, 7.***Месяц Марса***Повесть***14**

В начале апреля умерла бабушка Лиды. Лида сказала мне адрес, и я пошел на похороны. Я хотел увидеть Лиду и чем-то помочь. Жила бабушка, как выяснилось, в самом центре, на проспекте Нефтяников в дореволюционном трехэтажном доме, недалеко от Девичьей башни.

Ребята и девчонки из ее класса и из класса ее мамы, учительницы, пришли помочь, создавали необходимую суету. Два чувака пошли за ба-
тутшкой и привезли его на такси. Священник в рясе поднялся по сырой лестнице на второй этаж. Да, там была такая сырая старинная лестница, которые я люблю во всех городах мира, и дома с широкими, древними выщербленными лестницами – самые любимые мои дома.

Я с детства и по сей день во всех городах обожаю старинные центровые здания. Если они заброшены, первозданны, не отремонтированы последние лет пятьдесят, трупписты, подернуты мхом, это только повышает в моих глазах их привлекательность.

Знакомый, хотя в таких домах я никогда не жил, но почему-то родной, как из прошлой жизни, дедовский запах сырого камня, сырых стен, чуть смешанный с чем-то низменным, может, запахом крысиного помета, как и полагается, стоял тогда в полутемном и прохладном подъезде. В парадной – хотелось сказать про такой подъезд. Моя бабушка-армянка, коренная бакинская, называла подъезд словом «парадная» так же четко, как и пистолет «наганом», а зарплату «жалованьем».

Запахло ладаном, и все вместе навяло на меня книжным воспоминанием о каких-то грустных старых временах. Священник был еще человек молодой, лет тридцати или чуть старше. Он был среднего роста, статным, стройным, даже худощавым, бородатое лицо его было слегка растеряно, и мне показался он неуверенным. Думаю, таковым был он не в силу своего характера, но в силу окружающих его обстоятельств, он чувствовал себя не в своей тарелке в этом городе, и это мне бросилось в глаза. На чужбине, среди агарян, далеко от родины, от православного мира.

Кроме Лиды, ее тети, дочери этой самой бабушки, никого из родственников покойной не было. Были пара-тройка соседских старух и парни и девчонки, деловитые, которые создавали необходимое при всяких похоронах скопление. Священник начал заупокойную службу, и мне многие слова были понятны, пел и читал он хорошо, с чувством и разборчиво. Эти трогательные, жалостливые и вместе с тем величественные слова в полутемной комнате старой квартиры заставили меня вспомнить о древних временах катакомбных христиан.

Я украдкой взглянул на старуху, лежащую в гробу. Она была бледна, нос выделялся и казался крупным, кавказским, лицо ее показалось мне внушительным, властным.

Священник протянул крест для целования, и его поцеловали дочь покойной, мама Лиды, и сама Лида. И тут к моему удивлению стали к кресту прикладываться все эти одноклассники и ученики, среди которых не было, судя по лицам и именам, ни одного православного. Они прикладывались серьезно, чинно и старательно, особенно парни, а некоторые совершали манипуляции, напоминающие крестное знамение.

Тут не стоит искать чуда, всеобщего внезапного обращения, просто азербайджанцы с юности воспитаны уважать традиции. Организовывать свадьбы и похороны по высшему разряду у них в крови. Меня вот они отчитали, что я недостаточно свежий хлеб купил для поминок. А тут надо было создать массовку, чтобы поп не думал, что его труд не уважают. Это еще от ребячливой глупости и самоуверенности. На лице священника почти не отразилось недоумение или он тщательно скрывал его.

Лида меня никак не представила маме и тете, но мы все равно познакомились, и меня даже пригласили в гости в субботу. Лида была смущена, глаза ее покраснели от слез. Плакала и тетя.

15

Наши классы «а» и «б» объединили и закрепили за нами один кабинет, как в начальных классах. Кабинетов по предметам нам больше не полагалось. Число учеников в русских классах из-за отъезда армян и русских в нашей школе сильно уменьшилось. Планировалось, в скором времени школа станет

полностью азербайджанской, обучения на русском вестись не будет. Русские школы в городе и у нас в районе оставались еще долго, но с каждым годом их становилось меньше. Они держались в основном за счет азербайджанцев, многие из которых считали, что образование на русском языке качественнее.

У нас в классе числится человек двадцать: из них двое лезгин, я и Яшар, одна лезгинка Фарида, русская девочка Оля, ее подруга, маленькая как мышка хитренькая блондинка, хороший товарищ наших пацанов. Остальные мальчики и девочки принадлежат к титульной национальности. Говорю, числится, потому как на уроках иногда и не больше нескольких девчонок увидишь. Школа опустилась, стала грязной и обшарпанной.

Самое главное, нововведение в учебной программе – увеличение уроков азербайджанского. Раньше было всего два часа в неделю, а теперь шесть часов. Надо сдавать переводные экзамены по азербайджанскому в каждом классе. И классная у нас теперь – учительница азербайджанского Малахат Мусаевна. Она старается делать свою работу ответственно, строго карает отсутствующих, периодически устраивает диктанты и прочие испытания. Остальные учителя делают только вид, что обучают, а мы делаем вид, что учимся.

Раньше по азербайджанскому все больше заставляли зубрить наизусть стихи, и классику, и про первомайские демонстрации. Невыносимо много поэзии. А разговаривать и понимать не учили. Никому это было не нужно. Кому надо, тот сам выучит.

Иногда случались парадоксы, у русской девочки-отличницы, например, пятерка, а у недоросля и лентяя Мамедова – двойка. Потому что она честно зубрит, просто запоминая ненавистные звуки ненавистного громадного стиха с длиннющими словами, на ненавистном языке, старательно пыхтя, пишет, почти не понимая смысла, как средневековый студент на латыни, и ее уважают за труд и не хотят «портить ведомость».

Мамедов же вполне чисто, но вяло и с лукаво-виноватой улыбочкой говорит учительнице по-азербайджански, что не готов, и долго и нудно оправдывается.

Не заставляли учить азербайджанский только детей военных. Помню, как таинственен для меня был первый урок этого языка во втором классе. И вдруг пришла страшная и несчастная старуха Джахан-муаллима в теплом платке и с большой волосатой родинкой на подбородке. Мне казалось, это будет нечто, а урок просто вылился в издевательство над бедной старушкой. Мне ее стало жалко. Накануне поздним вечером, перед сном спросил папу, а какая первая буква в азербайджанском алфавите? Я заметил, что буквы русские, но совпадает ли произношение и порядок букв?

– Жо, – ответил папа.

– Интересно... А вторая?

– Па, – сказал папа и загоготал.

Потом Джахан сменила Махтуба, толстенная баба в самом расцвете сил, которая, если что не так, – указкой в лоб. Толстой рукояткой указки. Мне раз тоже попало, что было особенно обидно – две указки, белую и шоколадного оттенка, я принес, их папа заказал на своей мебельной фабрике. Так сказать, подарок родной школе. Мастера ценного дерева не пожалели, изящно выточенная рукоять больше для нормальной такой трости подходила.

К выпускному классу азербайджанский язык уже не казался экзотикой, и я вполне сносно на нем выражался. Выучил его не в школе, а потому что жизнь заставила, но диктант мог нормально написать. Старался не пропускать уроков, я на них отдыхал. Иногда даже подремывал и писал во сне, очень смешные каракули выходили.

Пустой урок – история. Историю ведет толстенный и высокий, пышноусый, обросший, но лысоватый сам наш директор – Асиф Исмаилов.

– У нашего народа огромная претензия к Сталину за то, что он не дал объединиться азербайджанскому народу, – сказал он нам на первом открытом уроке 1 сентября. Больше уроков он нам не давал, не считал нужным, и больше никаких его мыслей я не слышал. Он не был болтлив.

Остальные учителя изображают учебный процесс с помощью одной отличницы и парочки хорошистов. Иногда по математике и физике к доске вызывают Тельмана, он в этом соображает. По остальным предметам обычно в основном солирует Эмма, азербайджанка из Армении. Она маленькая и худенькая отличница. Ее мама, маленькая, толстая и пожилая на вид, ведет у нас литературу, и более далекого от русской литературы человека еще надо поискать. Хотя бы по тому, как она произносит фамилию недавно включенного в программу Булгакова – Булгакоб. На уроках отвечает Эмма, пересказывает содержание книг, и по лицу Тарланы Ширвановны видно, много нового для себя она узнает из ответов дочери.

– Не читаете, хоть дайте кому надо послушать! Гамлет, я кому говорю! – кричит она обычно. Эмма, продолжай, итак, образ Валайда...

Пытается слушать только Ильхам, но больше ест отличницу глазами, он нежно в Эмму влюблен. Гамлет с ударением на втором слоге вызывает смешки даже у законченных двоечников.

К истории пацаны уже успели вернуться из пивной. В стоячей пивной они как большие тянут пиво с вареным, пересыпанным крупной солью горохом нут и важно затягиваются сигаретами.

Русскоязычный ераз Гамлет (имя явно позаимствовано у армян), нарисовав одолженным у девчонок карандашом тонкие усики, замотавшись шарфом и соорудив из чьей-то кепки картуз, ловко изображает Остапа Бендера в исполнении Миронова.

– Если я сейчас не сорву у него столтник, плюньте мне в глаза!

Высокий, стройный, смуглый с весьма симпатичной, но подловатой физиономией этакого юного испанского или итальянского жиголо, Гамлет весьма убедителен. Он принадлежит к нашей классной шайке хулиганов. Пацаны гогочут. Для них постановка актуальна, их день начинается с выпрашивания и вымогания денег «в долг» у девчонок, «фраеров» и ребят поменьше. Гамлет уже начинает то ли в шутку, то ли всерьез обходить со своей кепкой девочек. Те улыбаются, денег не дают, а Гамлет весело клянчит. Ему все же какую-то мелочь собрать удастся.

Беззаботно смеется и Ильхам, хотя не далее как вчера ночью стучал ко мне в панике в калитку поздним вечером. Его свинтили полицейские, даже запихали в «козел», дали пару раз по шее и грозились подкинуть «план» и посадить. Под покровом темноты Ильхаму удалось бежать, выскользнув из машины – она не заперта была и наручники на него не надели. Впрочем, я мало что мог понять, главное, не понял, за что его задержали. Он пил воду и блевал от страха в нашем садике, а потом нервно курил, вздрагивая от звука машин за забором. Он опасался, что за ним гонятся. Обкурился, ясное дело.

На физике Гамлет забивает «косячок». Пацаны часто забивают косяки, «мастырят» прямо на уроках. Чтобы потом покурить в туалете. Анашу пацаны уважают и поют про нее песенку:

Караванщик седой...

Он везет анашу

В свой родной Туркменистан...

Почему именно Туркменистан? Я помалкивал о том, что там недавно побывал. Да о многом приходится молчать, хотя пацаны, конечно, знали, что у меня мать армянка.

Или такую песенку:

Денег нету, план у нас последний,

Что мы завтра делать будем вместе...

Вы ведь знаете, план – мое лекарство, вай мамаджан,

Я без плана как король без царства.

Физичка подходит, он быстро накрывает дурь учебником соседки по парте, Эммы. Она недоуменно говорит что-то вроде: «в чем дело», но Гамлет в ответ просто делает страшные глаза. Своего ничего у него нет, «кожаные» папки на молнии, разрисованные, украшенные искусными надписями шариковой ручкой: BRUCE LEE, MODEN TOKINC, BON JOVI, OZZY, выходят из моды. Их было принято «стильно» носить под мышкой, ссутулившись. Хулиганам уже лень даже имитировать усердие.

Пацаны уже слегка обкуренные и поплывшие от пивка, а тут еще яркий, теплый апрельский день. Кто-то дремлет, другие суетятся. Солнечно и душно в классе.

В апреле уже так тепло, что под жакет или курточку девочки носят полупрозрачные белые блузки. Пацаны пялятся на спинки девчонок, на очертания лифчиков под блузкой.

И вот неожиданность, у сексапильной Фариды расстегнулся лифчик. Вот она, сила мысли. Расстегнутый под полупрозрачной блузкой, две бретельки висят, как он еще держится? Похоже, это замечаю не только я и слышу хихиканье, а потом ржание. Фарида с Олькой, русской девочкой, сидят на первой парте и ни о чем не догадываются. Какая потрясающая воображение картинка – этот расстегнутый лифчик. Пацаны мгновенно возбудились и задержались. Фарида сидит красная, ей шепнули девочки.

Оля накидывает на нее жакет, и они выходят из класса застегивать лифчик в туалете. Чуваки гудят, а физичка орет, призывая нас к порядку.

Ребята, чуть успокоившись на своих «камчатках» и для порядку подерзив, начинают обсуждать сись-

ки физички, которая тоже в белой блузке. И сиськи подпрыгивали, когда она бросилась их урезонивать. Тема лифчиков и их содержания уже овладела скудным, но воспаленным воображением моих одноклассников.

Физичка еще молода, ей нет и 25, думаю, но выглядит взросло. Грузинская азербайджанка, недавно к нам устроилась. Коротко стриженная брюнетка, небольшого роста, крепкая. Бюст действительно выдающийся, и блузка вроде приличная, но просвечивает лифчик. Еще и пуговичка расстегнута. Зад соблазнительно обтянут черной юбкой.

Много ли надо нашим пацанам, мечтающим о девках, «страдальщикам», как в Баку таких называют? А в Баку все юноши страдальщики. Тем более в нашем возрасте. Только физичку мне обсуждать не хочется, да и не нравится она мне. Грубо очерчено лицо, резкие черты, тяжеловатый нос и стервозная складочка у губ. Но вообще симпатичная...

Характер у физички жесткий. Поорала, постучала указкой по столу, а пацаны не уgomонятся. Как тут самостоятельную проведешь? Прошлась между партами, ощутила на своих прелестях тени и пятна липких взглядов, уловила смешки, с усилием приглушаемые словечки и немедленно побежала стучать директору.

Асиф Исмаилович вызвал к себе всех пацанов нашего класса, кроме меня и Тельмана, ну и пары отсутствовавших ребят. Выстроил в шеренгу, наорал и надавал каждому по лицу. Натурально по паре пощечин влепил.

Иногда я тоже терся с ребятами, но разливное пиво не пил. Времена, как говорили взрослые, были смутные, да и в «Комсомолке» писали, что в разливное пиво добавляют стиральный порошок, чтобы лучше пенилось. Да и пить из кружек в этих унылых заведениях я брезговал и брал бутылочное. Пацаны только посмеивались над моим чистоплутьством.

На работе я попивал украдкой импортное пиво. Я не воровал, честно, ну или почти честно, свои деньги за взятый из палатки товар вносил. Импортное пиво мне казалось необыкновенно вкусным, особенно до того как начал пить. Приятно было прохладную баночку подержать в руках. Честно говоря, когда допивал, понимал, что ничего особенного и горькое какое-то. Но потом посмотришь на яркие банки, и снова хочется. Хотелось этого вкуса заграницы, красивой, веселой жизни. Я очень хотел путешествовать, поехать за границу. Куда угодно.

Иногда я и пил с пацанами коньяк и играл в карты на деньги. Азартные игры на интерес в Баку называют «гумар», а заядлого игрока – «гумарбаз». Но до гумарбазов далеко даже самым отчаянным нашим хулиганам. Не доросли еще. Мне чаще не везет, чем везет. Бывало, немного выигрываю, а потом на радостях в два раза больше проигрываю.

Пару раз пробовал и дурь покурить, но это мне не понравилось. Окружающий мир казался ватным, вязким, тревожно-безмолвным, страшно далеким или неприлично близким. Выпить лучше. А вот «токсикоманить», натягивать на морду пакетик с выжатым дефицитным клеем «Момент», это вовсе какой-то детский сад, думал я.

Совсем на нас забила школа, никакой дисциплины. Вот в «азербайджанском секторе», где учителя и ученики в основном переселенцы и беженцы из Армении, там были нравы суровые, патриархальные. Иной раз и арсенал из нескольких разнокалиберных прутьев, срезанных с обильных наших окраинных деревьев в кабинете, где они занимались, найдешь. Розги и шпицрутену, так сказать.

16

Признаюсь, мне было слегка не по себе идти снова в ее район, после ночи Новруза я проводил ее на такси. Тогда она сказала маме, что у Марины ночевала.

Я боялся мести Васифа, в таком возрасте даже небольшая победа делает юношей самонадеянными. Вся эта история тревожила меня и одновременно казалась нелепой, стыдной. Не хотелось снова ввязываться в такое приключение. Но нож я прихватил, да он всегда покоился в кармане моей куртки. Однако все обошлось, Васиф мне не встретился.

Мы пили чай на кухне, общались с мамой Лиды, в то время как сама моя любовь скучала, то возилась с котенком, то выходила поболтать с подругами по телефону.

Мама Лиды тогда казалась мне абстрактно «взрослой», но сейчас осознаю, что ей на вид было не больше сорока, была она молодой еще женщиной,стройной и довольно привлекательной. Нервной, поучительски назидательно, занудно-четко выражающейся, вежливой. Она и была училкой – русского языка и литературы. Работала в школе, подрабатывала, ходила по ученикам. Русский все меньше и меньше

был нужен. Только тем ученикам, которые в Россию ехали поступать. Больше нанимали преподавателей азербайджанского, чтобы знать новый государственный язык.

После чая, дежурных фраз и обычных оханий по поводу суровых времен мама Лиды вдруг замолчала, задумчиво и как-то оценивающе посмотрела на меня.

– Можно вас попросить об одолжении?

– Ольга Васильевна, со мной можно на ты. Я бы с радостью, а о каком?

– Только обещай, Лиде не скажешь. Ей лучше не знать, она такая впечатлительная!

– Не скажу, – сказал я с готовностью, но тоскливо, ожидая, что мамаша посоветует мне исчезнуть из жизни дочери или что-нибудь в таком духе.

– Ты вроде взрослый, ухватистый парень... Спроси, может, кому-то, вашим родственникам, знакомым, друзьям семьи, нужна квартира?

– Я спрошу, но не знаю... А какая квартира?

– Наша. Тут сложная ситуация. В общем, сосед положил глаз на нашу квартиру. Мечтает купить за бесценок, проще говоря, взять почти даром.

У меня отлегло от сердца.

– Это как? По какому праву? – задал я детский, глупый вопрос.

– Очень просто. Он говорит, русским все равно в Баку не жить. И выгоднее продать ему квартиру. Тем более он якобы русских любит и уважает. Сам выходец из аула глухого, после армии остался в России и даже стал милиционером. Просто сейчас такие времена, по его словам, наступили, что каждый должен жить на своей земле. Вот он и вернулся. Правда, почему-то в Баку, а не в свою деревню. Но это мелочи жизни. В целом, он, конечно, прав, и я тоже так думаю. И мы вернемся в Россию. Только вы не подумайте, что я имею что-то против азербайджанцев. У меня много добрых знакомых азербайджанцев.

– Что, вы решили уехать? – выдыхаю я с трудом и тоской, и мое сердце проваливается как на экзамене в школе.

– Да, я решила. Тем более Лидочка в следующем году оканчивает школу, и ей бы желательно проучиться последний год в России и получить российский аттестат...

– Так что же вы не продадите ему квартиру? – говорю я с некоторым вызовом, с обидой в голосе. Но Ольга Васильевна этого не замечает. Лицо ее эгоистично-задумчиво, как бывает, когда занят только своей проблемой, и по большому счету все равно, что думает собеседник – главное, добиться от него какой-то пользы.

– Я же сказала, он предлагает за нашу квартиру смешные деньги. Решил прикупить жилье в центре за бесценок! – отвечает мама Лиды резко, как будто это я предлагал ей продать жилье за бесценок. – И это притом, что у него уже есть квартира, «трешка» вроде... Он армян облапошил. Вернее, даже не облапошил, а облагодетельствовал, получается... Они могли бы и этого не получить. А теперь еще и наша «двушка» ему приглянулась. Он разбогател, магазин держит, говорят, еще и мастерскую в гараже, который недалеко тут, около зоопарка... Гараж когда-то принадлежал одному армянину, инвалиду войны. Там хорошие гаражи... Говорит, наша квартира и этого не стоит, но у него сын, которого надо женить и поселить рядом. В общем, сволочь он! И сын его дебил! Хулиган и двоечник.

– Понятно...

– Вот я и озадачиваю всех своих друзей и знакомых. И ты поспрашивай, мало ли... Я продам за разумную цену. У меня есть один порядочный человек, но, к сожалению, как все порядочные люди, он не настолько решителен и богат, чтобы с ходу купить квартиру. Ему надо продать родительский дом в селе, еще какой-то участок, машину. К тому же они с женой еще до конца не определились. В общем, он хоть и дал небольшой задаток еще в прошлом году, правда, чисто символический, я сомневаюсь, что он купит. О цене ничего говорить не нужно, чтобы и не отпугнуть, и не продешевить. Скажи просто, торг уместен. К тому же сейчас такая неразбериха с деньгами...

– Я поспрашиваю...

– Да, желательно до следующего вторника. Если найдется покупатель, хорошо бы, чтобы пришел до следующего вторника. Это важно. Тогда я буду увереннее. Ну это так, на всякий, вряд ли что-то из этого получится.

– А почему до следующего вторника?

– Во вторник вечером придет этот вот... сосед. Опять начнет на нервы давить. Он был вчера, сказал, зайдет через неделю. Я ответила, что могу только во вторник. Сдуру так сказала... Лучше бы сказала, что не знаю, когда время найдется. Но боюсь, не отстанет. И потом, мне страшно, у меня все же дочь. По-

этому мне и важно продать побыстрее, пока и вправду за русских не взялись. Или он пока какую-нибудь подлость не придумал. Мне почему-то кажется, он способен на что-то очень нехорошее. Продать и уехать отсюда подальше. Вот о чем я мечтаю. Меня здесь все достало!

Мы неловко помолчали. Мне в голову внезапно пришла замечательная мысль.

– Ольга Васильевна, а если сделать проще? Разыграть его, найти подставного покупателя.

– Это как?

– Ну, придет вместе со мной во вторник вечером какой-нибудь азербайджанец в роли покупателя. Придем и будем именно его ждать. Устроим засаду на вашего бывшего мусора. Ой, извините, милиционера.

– Да ну... Цирк какой-то... недоверчиво ответила Ольга Васильевна.

– Ничего не цирк. Я постараюсь найти настоящего покупателя, но согласитесь же, фальшивого найти легче. И придет он как раз во вторник вечером! Вернее, пораньше. Чтобы, в общем, показать, что он уже претендует.

– Неудобно как-то. Такое вранье... Будет ли это естественно?

– А что неудобного? Он вас, значит, может обманывать, а вы нет? – я разгорячился.

– Все-таки ты эмоциональный такой, как все азербайджанцы. И способен на хитрые выдумки.

– Я не азербайджанец.

– Но все равно восточный человек. Ты только не обижайся, но из-за вот этой вот вашей эмоциональности ваши мужчины могут быть резкими и грубыми с женщинами. Мне никогда не хотелось, чтобы Лида вышла замуж за азербайджанца или армянина. Вы очень эмоциональные, порывистые, неуравновешенные, зависите от мнения семьи, своего клана. А Лида, она, знаете ли, в общем, нуждается в другом. В ласковом, заботливом, тихом и преданном ей молодом человеке. Она и сама эмоциональная, и я скажу вам откровенно, я знала, что она так рано начнет интересоваться мальчиками. И нашла ей жениха. Такой хороший мальчик, русский, Коля, умный, способный, на год старше ее. У меня даже есть фото, где они, детки еще совсем, держатся за ручки. Хотите покажу?

– Нет, нет, ни к чему беспокойство такое. А где этот Коля?

– В Москве. Он там учится, поступил сам, представляете, на юрфаке МГУ! Сам поступил, у него, я уверена, будет замечательная карьера. А вы даже не учитесь, наверное...

– Я учусь в одиннадцатом классе и работаю.

– Кем работаешь? – удивленно спросила она.

– Работаю в газетном киоске. Продавцом.

Ольга Васильевна покачала головой. Я и не думал ее в чем-то разубеждать. Все равно она ничего не слушала. Когда сказал, что не азербайджанец, она даже не спросила, кто я по национальности. Главное, не русский, и все тут. А если бы и спросила, что бы ответил? Кто я? Как говорят, гремучая смесь, вот кто. В Баку почему-то таких, как я, на полном серьезе называли метисами.

– Колины родители перебрались в Москву. Живут в съемной квартире. Они продали тут неплохо, но инфляция эта проклятая съела их деньги. Но Николай Николаевич такой деловой, у них обязательно будет свое жилье.

«Не фига, как она его уважает, что даже по имени-отчеству называет», – подумал я с ужасом.

– А что, его папу тоже Колей звали?

– Да и деда. Николай Николаевич – папа Коли, физик. Мама – инженер.

– И моя мама – инженер. Она уволилась, потому что армянка. Они с сестрой уехали...

Разговор извилистыми, но предсказуемыми тропами вышел на события января 90-го года.

– Мы так боялись, ждали, что нас будут убивать, как армян. Все об этом только и говорили, что после армян за русских возьмутся... Армия нас спасла, солдаты.

Такие слова кажутся ересью, в Азербайджане день ввода войск, 20 января, отмечается как день всенародной скорби, а убитых в ту ночь чтят как жертв, мучеников и героев. Они захоронены в самом центре города, в Нагорном парке, где раньше был фуникулер и открывается прекрасный вид на море и город. Там устроена мемориальная «Аллея шахидов». Туда водят высоких гостей.

– Но войска очень большую жестокость проявили, давили танками безоружных людей. Армия не применяла дубинки и газ, как раньше, а настоящее оружие, автоматы и крупнокалиберные пулеметы. Я читал и видел фото со страшными ранами. Погибли мирные люди, и русские тоже, русский врач «Скорой помощи». И случайные люди... Даже по балконам стреляли. Если кто-то стрелял по солдатам с крыши, очередь давали из пулемета по всему дому с первого до последнего этажа. Я читал, оружия не было у

Народного фронта, немного автоматов, охотничьи ружья, бутылки с бензином...

– Знаешь, я допускаю, что могли быть случайные жертвы. Но если человек мирно сидел дома, то ему ничего не грозило. Это же было ночью. Зачем шляться по улицам в те страшные дни, да еще ночами? А потому что они сначала убивали и грабили армян, а потом решили захватить власть. Бездельники, убийцы и воры. И строили баррикады, решили задержать войска старыми грузовиками. Ну танки и про-рывали... Я обрадовалась, когда вошли войска, молилась, чтобы они поскорее пришли. Они нас спасли, русские солдаты.

– Почему они не вошли, когда были погромы, тянули? Они бездействовали, а когда убежал Везиров и Народный фронт власть захватил, тогда только зашли. Они не людей защищали, армян тогда уже не было, а власть... – я старался сдерживаться и не особо втягиваться в зарождающийся спор. Этого только мне не хватало.

– Армян, может, и не было, хотя, допускаю, кого-то все же прятали в те дни соседи... Но оставались русские! Которых не эвакуировали.

– Но русских тогда не трогали, да и сейчас все нормально...

– Сейчас такие погромы невозможны, потому что Азербайджан все же в нормальных отношениях с Россией заинтересован. И сейчас все направлено на войну с армянами. Сейчас есть хоть какая-то власть, а тогда несколько дней была анархия. Но русские все равно уедут, их потихоньку выгонят, без шума. И кто еще остался, сидят тихо как мыши. Кто-то останется, конечно, ассимилируется. Такой ненависти как к армянам, к нам нет и не будет, может, ты тут прав... Но какое-то появилось презрение, как будто мы люди второго сорта...

Мы печально помолчали.

– Сильная стрельба была в центре? – мне все же интересны военные подробности.

– Ты не представляешь, что мы пережили в центре. Тут же оставались армяне. В те дни был хаос, и грабили, грабили армян. Я видела деловито бегающих мужиков с телевизорами в руках. Выносили мебель, да все подряд. Я позвонила своей подруге, армянке, она не брала трубку, надеюсь, ее соседи спасли. У нее хорошие соседи были. Наши мужчины тоже дежурили в подъезде, забаррикадировали у нас тут. Но все равно армянскую квартиру ограбили. У нас армян не было, и эти, даже не знаю, как их назвать, звери, они все равно вскрыли квартиру, которая заперта была, хозяева покинули ее. Там армянин состоятельный жил, он такую мощную стальную дверь поставил, такие замки, что ну никак ее было не отпереть, и они с крыши в окно проникли и изнутри открыли.

Я с ребенком, с Лидочкой... Ой, что тут говорить. Когда я услышала этот треск, не поняла, что это выстрелы, а потом увидела зарево, знаешь, как будто салют. Светло как днем.

– Это трассеры... – говорю я завистливо, пропустил такое зрелище.

– Я в этом не разбираюсь. Я вначале испугалась, но когда поняла, что армия пришла, испытала огромное облегчение. Тяжелое время было, тут еще такое трагическое совпадение случилось... Моего племянника убили, сына старшего брата. Брат уже уехал из Баку... Я за ним сюда приехала в свое время...

– Кто убил?

– Убили Костю в армии, он служил в Прибалтике. Как убили, нам не сказали, военные привезли в цинковом гробу. Старший сопровождающий офицер запретил вскрывать гроб, но брат вскрыл. У него гематома у виска была... Свои убили или прибалты за пределами части. Темная история, тогда сказали, следствие идет, подробностей нет. Такой кошмар, такой парень был хороший, здоровый, простой, но отзывчивый, десантник, по-моему.

Так вот мы ехали в аэропорт встречать Костю, а потом на кладбище... Заплаканные, в трауре, в платках, и азербайджанцы на нас смотрели с уважением, думали, мы тоже кого-то потеряли во время штурма. На антеннах машин были черные ленточки. Нас пропускали на дороге. Они вообще были тогда подавленные, язык прикусили, понятно. Очень много солдат было, техники. Бревна, помню, были железными скобами прикручены на бронетранспортеры или как их бишь там. Мне потом объяснили – для того, чтобы баррикады расталкивать.

Они тогда тоже хоронили как раз в Кировском парке... Знаешь, я слышала, на этом месте было английское кладбище. А потом при советской власти его убрали и разбили парк. На кладбище не должно было быть парка. А должно быть кладбище. Вот так Бог и распорядился.

Все эти могилы устраивались помпезно, за счет государства, все были в трауре, по телевизору транслировали, эти похороны, плач, вопли... Тягостно было смотреть, и вот мы совпали, получается, с ними в горе...

А в принципе, азербайджанцы – мирный народ, неагрессивный, им бы торговать, а не воевать. Семейные... Я хорошо с ними уживалась, хорошо жила в Баку... – неожиданно закончила она.

Мы пошли гулять с изрядно заскучавшей уже Лидой. Когда выходили, мне снова повезло – Васифа не было. А проводил я ее предусмотрительно на такси, сел вместе с ней, доехал до ее подъезда, дошел до дверей квартиры, а машина ждала меня.

Кого же взять на роль покупателя Лидиной квартиры? Ни я, ни мои сверстники не годятся, мы выглядим слишком молодо для покупателей квартиры, не поверит. Он не глуп, судя по всему.

Эта задачка была посложнее, чем справиться с наглым, как его там, Васифом. Напугать-то этого не в меру делового типа можно, и хулиганов для этого дела найти тоже можно. Но это не выход. Нужен убедительный розыгрыш, который не повредит Ольге и, главное, Лиде. Тут нужен серьезный человек, который выглядит угрожающе. На всякий случай. Но при этом сможет и захочет сыграть в этом важном эпизоде. А где его взять, такого персонажа? Отца просить я не хотел. Ну, на крайний случай допускал такую возможность, но лучше справиться самому.

17

Я шел в раздумьях по улице Сергея Лазо в нашем районе, и меня окликнули. После разговора с Лидиной мамой раздумья меня не покидали.

– Здорово, парень! Как дела?

– О, Тамик, здорово! Спасибо, ничего.

Тамик жевал жвачку и выдувал пузыри. Он небрежно, но крепко пожал мне руку, как человек, который хочет не просто формально поздороваться, а почесать языком. Рост под два метра, жирный, но выглядит не толстяком, а штангистом в тяжелом весе. Внушительно выглядит. Кличка только у него смешная – Худой, зато имя пышное – Тамерлан.

Толстая, смуглая физиономия с щегольскими усами итальянского или даже латиноамериканского мафиози, темные очки, перстень, пестрая под шелк рубашка, расписанная огурчиками, кожанка. Настоящий бандит. На самом деле Худой – плут, незлобивый парень со своеобразным чувством юмора, старше меня года на три-четыре. А выглядит гораздо старше. Учились мы в одной школе. Он был двоечником, но по-житейски язык хорошо подвешен на двух языках.

Худой работает у одного влиятельного человека личным и семейным водителем. Кроме того, делает «базарлыг»¹, выполняет разные поручения, в том числе и такие, где надо уметь базары тереть. Шеф выделил ему новую белую «шестерку» «Жигули». Уж не знаю, сколько ему платит. А вообще Тамик себя не обидит, и не удивлюсь, если хозяина по мелочам «кидает».

– Куришь сигареты? – Худой протягивает мне пачку «Мальборо». – Ну как пацаны?

– Да нормально... – на автомате отвечаю я. Мы закуриваем.

– Рафик как там в своем Джугутстане, хы-хы? Пишет тебе? Их там Саддам еще не разбомбил, хы-хы? Я с его брательником дружил. Хороший парень э... Заурчик, говорят, туда тоже отчалить хочет, поработать типа. Официантом, хы-хы.

– Написал два письма...

– Тамик, тебе квартира не нужна?

– Пока нет. Пока 500 рублей нужны. Слушай, подогреешь дядю? – Худой понизил голос и доверительно сказал: – Шеф что-то бабки задерживает. В долг дай, да...

Я протягиваю ему двухсотрублевую купюру, заныканную во внутренний карман куртки на всякий пожарный. Худой офигевает от моей щедрости. Он вообще-то и не надеялся ничего получить. Так, удочку закинул на удачу.

– Какая хата? Где? – спрашивает он заинтересованно, что объясняя благодарностью за 200 рублей.

– На Завокзальной.

– А кто продает?

– Моя знакомая.

– А за сколько?

– Ну, тут поговорить надо, – скептически отвечаю я. – Там еще один претендует.

Я ему рассказываю про мужика, вообще, про всю ситуацию. Про придуманную мной хитрость. Рассказываю, стараясь говорить пренебрежительно, поплеываю, затягиваюсь сигаретой. Главное тут, не выдать своего волнения, не потерять иронию и легкость, так ценимые у наших пацанов. Смутишься тут, у нас не принято сентиментальничать. Тамик слушает покровительственно, снисходительно улыбаясь.

Что-то спрашивает, напустив важности и понимающе кивая. Наконец, сооротив серьезную и озадаченную физиономию, соглашается помочь. Наверное, он согласен на любую авантюру, лишь бы пахло выгодой и развлечением.

– Я шефа спрошу, может, ему нужна квартира или кому-то из его родственников... В любом случае с этим твоим фраером поговорим так, что он обосрется. – И тихо добавляет: – У меня, если что, есть во-лына, пистолет.

– То, что надо, – соглашаюсь я.

– А как думаешь, если он серьезный? – спрашиваю.

– Посмотрим, да, на его видуху. Если он серьезный, культурно поговорим, если фраер залетный, то на понт возьмем. С тебя в любом случае гонаглыг². Посидим, покушаем... – лицо его сделалось мечтательно-умиротворенным. – В хорошем месте, я знаю одно... Ты знаешь, я почти не бухаю, но хамать очень люблю.

– Без базара, ты что, Тамик, обижаешь... – улыбаюсь и хлопаю его по руке.

В назначенный день мы приехали к Лиде. Тамик вырядился внушительно – бордовый двубортный костюм с искрой, черная блестящая рубашка, темные очки, на руке золотой перстень. Он был выбрит, подправил щегольские усики, и пахло от него сладким одеколоном. Он церемонно поздоровался в резко уменьшившейся прихожей. Сняв очки и убрав их в карман, неторопливо разулся, аккуратно оставив у коврика черные лаковые туфли, прошел на кухню в белых носках, любезно отказавшись от тапочек. Худой деловито огляделся, оценивающе скользнул по стенам глазами.

Ольга Васильевна, растерянная, предложила нам чай. Мы сели на кухне, завели непринужденный разговорчик, в который постепенно Худой втянул и хозяйку. Я думал об одном, лишь бы получилось, лишь бы получилось, лишь бы этот деляга все же зашел, все же попался в нашу засаду.

И зашел ведь, как и обещал. Такой себе весь деловитый, небольшое брюшко, дурацкие усики, плешистый, полуседой. Серый турецкий в полоску костюм, мокасины с кисточками, в руках четки-теспе. Все, как полагается. Вид у него был озадаченный, растерянный, когда он вынужденно и недоуменно с нами поздоровался. Какое-то встревоженное лицо, глаза забегали, достал широченный носовой платок, приложил ко лбу. Он и не думал застать в квартире посторонних, да, именно посторонних, думаю, он себя уже тут считал хозяином.

Ольга Васильевна дрожащим голосом пригласила его войти, но он застыл в середине прихожей, видимо, продолжая недоумевать. В это время Тамик после выгодной паузы протянул ему руку, вроде дружелюбно, но бесцеремонно, сильно сжал и чуть дольше обычного задержал в своей ладони. И так легонько, вроде случайно, толкнул пузом, вроде бы протиснуться хочет или мало места ему.

– Это вот...

– Да. Все отлично. Мне понравилась квартира, задаток сегодня уже дам. Вам в долларах?

Он не смотрел на нашего подопечного, вернее, смотрел как бы мимо него, не замечая, как делают блатные. И выглядел очень серьезным.

– Э, так дело не пойдет, Ольга, мы же договорились, – сказал наш незадачливый делец, и кровь хлынула к его лицу.

Ольга Васильевна выглядела растерянной, но взяла себя в руки и довольно внятно произнесла:

– Джалал, мы же ни о чем конкретно не договаривались, ваши условия меня не устраивали, я и задатка не брала... Какие тут могут быть претензии.

– Никаких базаров быть не может, – веско сказал Тамик.

– Тебя это не касается, это наше с ней дело, – сказал раздраженно по-азербайджански Джалал Тамик и махнул рукой. Так раздраженно махнул, мол, отвали.

– Во-первых, руками не разговаривай³, во-вторых, я клиент, она хозяйка, и мы договорились. Ты не прав. Ты понял? – сказал Худой очень веско и неторопливо по-азербайджански и снова напер своим брюхом. Он был почти на голову выше этого Джалала, и тому пришлось отступить. Наш подопечный побагровел. Я со своего бока тоже сделал шаг, так что Джалалу осталось только попятиться задом к двери. Не бодаться же сразу с двумя. Тем более он не рассчитывал на такой конфликт. Если только на маленькую разборку с упрямой русской. Да и вообще, производил он впечатление, как говорили в Баку, «буквоеда», любителя покачать права, но не драчуна. Ольга Васильевна заметно напряглась.

– Ну что, давай, саг ол, до свидания, – Тамерлан бодро и несдержанно хлопнул Джалала по плечу.

– Ольга, саг ол, но мы не прощаемся. Ты еще об этом пожалеешь, – процедил тот.

Думаю, Лидина мама точно испугалась.

Когда мы с Худым выходили из подъезда, этот кадр стоял во дворе с каким-то парнем. Ох ты – да рядом с ним Васиф. Они не курят, просто стоят, разговаривают.

Васиф тычет пальцем в меня, нехорошая задумчивость на лице мужика меняется на удивление, потом истеричный оскал, и они подсакивают к нам. Я попятился.

– Ты, ты кто такой?! Ты моего сына ножом ударил!

Ну, вам ясно все? Такое вот случилось совпадение.

Тамик, хоть и не ожидавший второй серии и вроде бы уже выполнивший обещание, к его чести, встал между нами.

– Ты кто такой? – визжал Джалал, а его сын стоял сзади и молчал как примерный школьник. Я растерялся, но терять мне уже точно было нечего. Я замахал руками и яростно начал оправдываться.

– Он первый начал!

– Руками не разговаривай, я старше тебя, мы заявление напишем, и ты сядешь. Хулиганство, холодное оружие с собой таскаешь, ударил его ножом, телесные повреждения... Я такую справку сделаю, тебя посадят, сукин ты сын, – брызгал он слюной. Видно, бывший мент разбирается.

– Ваш сын первый начал. Вот и у меня шрам, – я его еще на «вы» называл, хотя мне хотелось и его пырнуть в брюхо и свалить побыстрее.

В общем-то мужик не лез бить мне морду и просто брал на понт, видно было, вообще в драку лезть он не охотник, да и не по возрасту. Но что он хотел тогда от меня?

Тамерлан через некоторое время догнал и от пассивной обороны перешел в атаку.

– Устыдись, ты взрослый мужчина, – завел он по-азербайджански. – Пацаны подрались, всякое бывает. Твой сын тоже хорош, вон его ударил...

– Да, вот шрам, железкой по лбу, вот! – показываю я.

– Он его пырнул! За эту блядешку, дочку эту...

– Эй, бля, папаша, ты за базаром следи, – огрызнулся я. Меня, конечно, слегка колотило.

– Все, дело было и прошло, сейчас все нормально с твоим сыном. Замяли. Мало ли что между пацанами бывает?! Нехорошо вмешиваться, они должны были сами разобраться и разобрались, – подытожил Худой.

Ну тут Джалал заверещал, вспомнил все и стал Тамiku предъявлять претензии за то, что, мол, он договорился по поводу квартиры, а мы ему дорогу перешли и мы все в каком-то сговоре (что, кстати, так и было), нешуточно нам грозить своими связями. Все у него смешалось в одну кучу, но давить, видно, на психику он умел. Ментовской опыт, восточное коварство и южный темперамент. Сын стал поддакивать и борзеть.

Тамик засунул руку в боковой карман пиджака и вынул пистолет. Они застыли и заткнулись. Я тоже застыл. Подержав пистолет в руке, Худой засунул его за пояс. Вроде просто так переложил.

– Слушай, я сказал, замяли! – пальцем ткнул в грудь оппонента. – Все было и прошло, и все забыли. Понял? Насчет кто кого посадит, у меня тут близкий родственник в Наримановском отделе следователь. И в городской прокуратуре тоже есть. Не зли меня, хорошо? Квартиру я беру, и претензий ни у кого нет. Постыдись, ты взрослый мужик, что люди скажут, орешь тут... Никаких претензий к русской этой тоже у тебя нет. Все, давай.

В силовых структурах трудились родственники хозяина, но Тамик разумно присвоил их себе. Джалал нам полагал вслед, однако было ясно, он впечатлен. Худой умело базарил, я в нем не ошибся. К тому же все же оружие есть оружие. У нас оно было, у него, может, тоже было, но не при нем, а скорее всего и не было. На открытый произвол по отношению к Ольге он явно был неспособен, да и вообще по большому счету у него кишка была тонка. Ну, бизнес небольшой, ну и что. Понты кидать, как выяснилось, у Худого получалось убедительнее.

– На, закинь в бардачок. – Тамик вытаскивает оружие из-за брюха и достает сигарету.

– Тамик, а ты не боишься так за пояс пестик засовывать, а вдруг выстрелит и хер вместе с яйцами отстрелит тебе? – спрашиваю я, осторожно любуюсь пистолетом, не спешу «закидывать» его в бардачок.

– Ты что, больной? Он же не заряжен. Как в кино, все крутые пацаны проверяют перед тем, как на дело пойти, заряжена ли пушка, так я проверяю, нет ли там патронов, не дай бог. Я что, тупой? Патроны у меня в бардачке, иногда с друзьями по бутылкам стреляем на море или где-то еще в тихом месте, и то по два-три раза. Пули бабки стоят, парень.

– Ха-ха, хитрый ты такой. Спасибо тебе, ты знаешь, ты их офигенно сделал. Просто...

– Спасибом не отделаешься, парень. Кстати, у тебя там в твоей будке продается Мальбра?

- Продается.
- Подгонишь мне пару блоков?
- Конечно, без базара.
- А в ресторан в пятницу пойдем... С тебя не просто гонаглыг, а бомбовой гонаглыг.
- Да, да, помню, – улыбался я.

Настроение было хорошее. Только небольшая тревога, что эти типы, папа и сынок, все же каким-то образом отыграются, отомстят Ольге и Лиде. А что сейчас делать, только надеяться на лучшее, что действительно мы все замяли. Есть все основания полагать, что Джалал притихнет. Но мало ли. Ну, тогда еще что-нибудь придумаем, утешаю себя.

– А как ты думаешь, Тамик, этот мужик успокоится? – спросил я осторожно.

– Слушай, не успокоится – успокоим, да, баклана этого, и сыночка его, фраерка молодого. Что, влюбленный, блин, голубь, из-за бабы пырнул парня? Не ожидал от тебя, не по понятиям это – с притворной комичной тревожностью покачал головой и со смехом продолжил: – Ух, блин, твоему папе э все расскажу. Надо же, хотя так им и надо. Ты правильно сделал, киши кими, как мужчина. Он же на словах не понял?

– Не понял и сразу первый меня ударил...

– Ну, тут такое дело, если полез, надо голову иметь. У того, на кого ты полез, может и ножик в кармане быть. А что, она ему обещала что-то, дразнила пацана?

– Нет, ничего, – отвечаю я раздраженно.

– Она хоть красивая? Бомбовая телочка? Секс-бомба? Ладно, ладно, шучу, а то ты и меня пырнешь, – худой утробно загоготал.

Меня, честно говоря, его слова не задевали. Он же не со зла. Васиф – злой, папаша его просто и вправду мерзкий баклан, а Тамик – парень неплохой. Лиду он не знает, да и незачем их знакомить.

Он помолчал некоторое время, задумчиво порулил.

– Слушай, я по правде могу купить эту квартиру...

– Это как?

– Ну не сам, а для шефа.

– Ты ему сказал?

– Да, все так и сказал, как обещал: знакомая русская продает квартиру на Завокзальной. Он, может, для себя возьмет, а может, кому-то еще скажет. Скорее всего, возьмет сам. Хата так себе, но все же центр, хоть и полно еразов там. Босс сам хочет в центре жить, но это ему, сам понимаешь, не подходит. Зато ему еще двух сестер замуж выдавать, есть родственники «районские», которые хотят в Баку жить, и вообще сейчас такое время... Бабки какие сейчас стали? Вот в советское время бабки были бабки. А сейчас? Лучше, если они есть, тратить, покупать вещи, вкладывать. Хаты там, бриллианты.

– Тамик, спасибо.

– Я не обещаю пока ничего, но бабки у него есть, и он мужик – мелочиться и крысятничать не будет.

Я понял, Тамик серьезно обдумывал это дельце. Возможно, сам заинтересован, хочет угодить хозяину, прослать деловым или вдобавок стать посредником, подзаработать. Что же, это неплохо, я ведь хочу помочь Ольге... Помочь – это значит, Лида уедет. А что тут поделывать, мать ее твердо решила уехать, и может, она права. Я помнил, как уезжали армяне, все они оказались правы. И кто не тянул с отъездом, оказались правее.

18

Пытаюсь в щели разглядеть людей. Получается плохо, да и быть обнаруженным не хочется. Всего лишь деревянный забор отделяет нас от соседей, как раз за ним я и жег свой костерок. Незнакомцы деловито и решительно протопали по узкой тропинке, которая как раз за забором. И проникли в нагромождение пристроек и навесов коряво разделенного на две семьи тесного дома. В нем жили земляки и дальние родственники Вели и Совет (полагаю нареченный в честь власти Советов), с чадами и домочадцами.

Навстречу незванным гостям вышла жена Совета, грузная Солмаз. Разговор я, естественно, не разобрал, слышно было неважно. Я все же предпочел отойти от забора. К тому же не так хорошо владел азербайджанским языком, чтобы понимать плохо различимую быструю речь, тем более разные «районские» говорки. Пообщавшись минут 15-20, приехавшие прогрохотали обратно, захлопнули соседскую калитку и, к моему глубокому облегчению, нажали на газ, и через пару мгновений шум мотора был уже в конце улицы и вскоре совсем затих.

Приехали они потому, что знали, на нашей улице в нашем доме №12 жила армянка, но ошиблись калитками. Это первый вывод, который напрашивается. Солмаз сказала, что армян на улице нет. Да, мол, была армянка, жена лезгина, соседа, но давно уже уехала. И детей с собой взяла. А муж ее лезгин с русской матерью и двумя сестрами жить остался, и вообще у людей горе, недавно отец умер. Грех их беспокоить. Тем более хозяина дома нет, женщины одни.

На следующий день Солмаз тревожно спросила мою тетку, уехали ли жена и теща Расула? Она искренне была рада, что сказала «гостям» почти правду. Мы к тому времени действительно отчались. Соседка соврала, покрывая армян, боялась, что ее уличат во лжи и ей не поздоровится. Женщина была взволнованна, да и понимали они с тетей друг друга плохо. Солмаз почти не знала русского языка. Так что неизвестно, как все было.

Поговаривали, ее сын, восемнадцатилетний Шамистан, имеет отношение к Народному фронту, в митингах участвует. Может, они не ошиблись калиткой, а пришли, так сказать, к своему соратнику, чтобы он помог найти и зачистить армян на своей улице. Узнать точно, где собственно этот лезгин с женой армянкой проживает. И, не обнаружив его дома, пообщались с его матерью, которую они знали, и поэтому послушались. Вряд ли эти ребята стали бы прислушиваться к незнакомой тетке. А вот к матери своего товарища запросто, родителей друзей уважать надо не меньше своих. Народный фронт – это только звучит впечатляюще, а на деле рядовые члены просто хулиганы и непоседы из еразов и «районских».

Совет был постарше моих родителей, Вели – помладше. Они были еразами «довоенного» разлива, репатриировавшимися до событий за год или два. Они купили дом у нашего соседа армянина Сурена.

Все же чутье развито у некоторых людей, хотя братья-еразы не прогнозировали никаких потрясений, просто хотели жить на своей земле. В те годы фразу о том, что надо жить на своей земле, я слышал от многих людей в разных вариантах и на трех языках.

Однако исторической родиной еразов уже много столетий была территория Армянской ССР. И эту родину азербайджанцы покидали весь советский период. Некоторые еразы говорили, что оттуда азербайджанцев мягко выдавливали волнами, например, после войны волна была, а потом в 60-е, и так далее. Поэтому есть еразы первого выпуска, второго и так далее. На самом деле это все субъективно и условно. Еще еразы говорили, что армяне давно готовились к конфликту с азербайджанцами. Воздух в Армении был наэлектризован, слухи и мрачные предсказания, предзнаменования вились как еле заметный ядовитый дымок. И не каждому дано было его учуять. Такое складывалось впечатление из их слов.

Для Сурена исторической родиной была не Армения, а Нагорный Карабах, входящий в Азербайджанскую ССР, но уехал он к сыну, обосновавшемуся в Пятигорске. Есть люди, которые чувствуют надвигающуюся катастрофу, как оценившаяся сука, почувствовавшая подземные толчки в пансионате для беженцев в Армении, где нашел приют мой дед Гриша.

И справа и слева у нас соседи еразы, но нас они не выдали. Ни в ту ночь, ни до и ни после. Хотя по соседски и повздорить мы могли, по мелочи. Еразов считают наиболее яркими противниками армян. Мол, пострадали от армянского владычества, стали вынужденными переселенцами, и если сами не беженцы, то точно имеют родственников беженцев. На Кавказе если война, то жертвы среди родни всегда найдутся. Обязательно кому-то не повезет из клана.

Я еще постоял немного, обошел двор. Неизвестно, увижу ли я еще свой родной дом. Вскоре услышал свой «москвичевский» скрип тормозов и метнулся открывать ворота.

Едва рассвело, как к нам приехал дядя Айдын. Мы собирались. Я ничего не боялся и очень не хотел уезжать, но надо было помочь маме. Ведь бабушка почти не ходила, каждый шаг ей давался с трудом, сестра ее тоже крепким здоровьем не отличалась, а ее дочь с претенциозным именем Офелия, несмотря на свои всего лишь 30 лет, была тучной и глупенькой. Все валилось у нее из рук, она слыла растяпой.

Проснулся я в мрачном расположении духа. Я вообще «сова» и не люблю рано вставать, особенно для совершения всяких неприятных, утомительных действий. Вроде походов по бюрократическим инстанциям и визитов к дантистам. И меня очень раздражает фраза: «надо лечь спать пораньше, завтра у нас трудный день». Тем более когда день нетрудный, особенно если сравнить с тем нашим днем, 17 января 1990 года. По-моему накануне трудного дня стоит вволю повеселиться, лечь спать попозже, чтобы было о чем вспомнить.

Дядя Айдын – невысокий, лысеющий, с усиками, похожий на телеведущего Игоря Выхухолева, был очень остроумным человеком. Однако тогда он напустил серьезности и деловитости, только глаза оставались смеющимися. Поддерживать серьезный и хмурый вид ему не составляло труда, скорее всего, кро-

ме общей драматичности ситуации сказывался еще и похмельный синдром. Дядя Айдын любил выпить, и особенно удачно сыпал шуточками под градусом. Когда он был трезв, ему удавалось только черный юмор. Алкоголь его не брал, я не видал его пьяным. Чтобы быть по-настоящему хмельным, наверняка ему была нужна невероятная доза. Зато алкоголь делал Айдына по-настоящему приятным собеседником и душой компании. Мы с сестрой любили, когда он приходил. Поддатый, дядя Айдын приносил в любой скучный вечер ощущение праздника. Он был русскоязычный, «городской», вернее, исконно «разинский» мужик.

– Ара, совсем озверели эти туземцы, еразы эти! Кому все это нужно?! – приговаривал он, приветливо поздоровавшись с мамой и бабушками.

– Айдын, извини, мы, наверное, тебя от работы отрываем, – сказала мама.

Айдын работал водителем «РАФика» в каком-то НИИ.

– Ара, какая э сейчас работа? Бардак какой-то творится!

– Дядя Айдын, вы так часто «ара» не говорите, за армянина примут вас, – шучу я.

– Да, Айдын, правильно, да, он говорит, – улыбаясь, поддерживает меня отец.

Они выходят покурить во двор. Меня пришли провожать две тетки и бабушка Валя. Бабушка Валя ходит лучше бабушки Эми, но также тяжело, переваливаясь, страдая одышкой. У нее тоже большой желудок, шалит и печень. Думаю, сказывается их скудный военный и послевоенный рацион питания: плохой хлеб, а частенько и трава, кора, жмых, всякие суррогаты. Бабушка Валя украдкой крестит меня, подслеповатые глаза ее слезятся, а подбородок чуть-чуть трясется.

Папа выгоняет «Москвич», закрывает ворота. Они у нас отдельно от калитки, в другом конце забора. У многих у нас на улице калитка составная часть ворот. Айдын подогнал машину вплотную к калитке. Забрасываю туда вещи, женщины рассаживаются.

Расул приказывает матери и сестре закрыть калитку изнутри и запереться на нашей половине дома: у бабушки дверь деревянная, а у нас железная. Никому не открывать, никуда не выходить. Они не владеют азербайджанским, а русская речь уже стала раздражать радикальных азербайджанцев и азербайджанок. Даже не речь, а что уж таить, сами русские.

Мы с папашей садимся в его «Москвич». Трогаемся, Айдын уже поехал, он чуть впереди. Мне, честно говоря, плохо, тоскливо на душе, тревожно. Ветер и пасмурная погода, как ни странно, раньше успокаивавшие меня, сейчас лишь нагоняют тоску. Никуда уезжать не хочется, и хочется, чтобы мы долго-долго ехали.

Это все равно как в детстве с дедом Гришей к врачу ехать, который у меня в горле ковырялся. Едешь, едешь и не хочешь приехать. Думаешь, хорошо бы день не приемный или что-то в этом роде.

В городе тихо, во всяком случае, на улицах, по которым мы проехали, ничего особенного не творится. Народу почти нет. Папа взял все наши сбережения, несколько сот рублей, чтобы в случае чего раздать гаишникам, если они будут чинить препятствия, и активистам Народного фронта, если те будут досматривать машины. Гаишников он не боялся, милиция хотя и не помогает армянам или помогает уж очень вяло, но насилие над ними не чинит. А вот с людьми из Народного фронта общаться будет сложнее. Родители договорились втайне от меня, что если возникнет ЧП в дороге, папа остановится по возможности подальше и в стороне от Айдына, запрет меня в «Москвиче» и уж потом пойдет им на выручку. У Айдына темные занавески на окнах, издали заметить, что в «РАФике» пассажиры, никак невозможно. Женщины будут обнаружены, только если его остановят и машину досмотрят.

Подъехали к порту, отец останавливается и выходит. Дальше на машине нельзя. У КПП ждет его невероятно тучный русский мужик в морской фуражке и форме, тоже, как и у Толи, спрятанной под штатской курткой. Они здороваются за руку. Айдын выходит покурить, но от своего «РАФика» не отходит.

Моряк объясняет Расулу, что дальше можно только пешком к кораблю, и только беженцам, его с Айдыном не пустят. Предвосхитив ответ папаши о том, что старухи просто не дойдут до корабля, мужик предложил:

– Давай ключи, я сам сяду за руль твоей машины и довезу их прямо до трапа.

На том и порешили. Вещи я загрузил в багажник. Папа и мама смущенно прощались. Расула обняла и теща Эмилия. До сих пор не понимаю, как мы все поместились в папашин «Москвич». Под тяжестью двух довольно тучных пожилых женщин, моряка-толстяка, не худенькой Офелии, да еще меня и мамы машина заметно просела. Какой же все-таки жирный этот дядька. Такие толстые ляжки, еле помещаются на сиденье, а пузо чуть ли не упирается в руль. Говорит отрывисто, как плюется.

Вот, говорит, и судно. И тыкает пальцем в показавшийся мне смехотворно несолидным на фоне остальных судов маленький, какой-то слегка обшарпанный, а может, это мое субъективное впечатление,

кораблик. Выглядит, ей-богу, как прогулочный катер. Никакой романтики в виде пушек, пулеметов и ракетных установок. На борту номер и название «Эмба». Возле него небольшая толпа мрачного, подавленного и совсем не туристического вида. Снуют морячки, пытающиеся организовать что-то вроде очереди.

Судно идет в Махачкалу. Расул заранее связался еще с одним другом детства, Вовой Гориновым, который окончил бакинскую мореходку, стал капитаном рыболовецкого судна и живет в Махачкале. Горинов должен был нас встречать в махачкалинском порту. Он туда отправится, на всякий случай, в компании вооруженного дагестанского мента. Горинов свой человек на Каспии, он выяснит график захода судна, его пустят в порт.

Как же бабушку, которая еле ходит из-за артрита, каждый неловкий шаг ей отдается болью, взгромождать по этому скользкому узенькому трапу? Это не пассажирский трап, а именно походный, боевой. Железка с поперечными перекладинами.

Ловкие матросы взбираются по нему, как обезьяны по лиане. Под трапом вода, страшновато и маме в сапогах на шпильке.

Что же хочешь, как говорится, жить... Никто церемониться не будет, матросики помогают лихо, раз-два и втащили на скользкую палубу. С нами лезут старушки и более ветхие. Не только же мы этим судном собрались в круиз. Бабушка Эмилия когда-то смотрела фильм про войну, показывали бомбежку и разбегающихся от немецких самолетов женщин. О, немцы бы меня сразу убили, я бегать не умею, говорила она, улыбаясь. Если бы настоящие немцы бомбили Баку в войну, она бы бежала как раз очень резво, потому что была молода и здорова. А жизнь, когда крутили кино, была такой стабильной, что и представить невозможно, что придется от кого-то драпать.

19

Наш военрук, капитан азербайджанской армии Дадаш Дадашевич (впрочем, форму он носил еще советскую), наша местная помесь ремарковских Канторема и Химмельштоса, отвел пацанов в военкомат. Получать приписное свидетельство. Я не пошел, сказался больным.

Военрук нас, потенциальное пушечное мясо, муштрует. Раз, два, раз, два. Равняйся, смирно, кругом марш! Он бы еще сказал «запевай», но его любимая: «Соловей, соловей пташечка», уже не попадает в такт шагу независимой армии.

Черноусый шутник Дадаш, всегда аккуратно обмундированный по уставу, почему-то еще вел пение у нас тоже, когда нам оно полагалось, хотя был артиллеристом, судя по советским погонам. Он учил петь, присвистывая и притоптывая. При этом сам петь не умел, жалуюсь на прокуренный голос.

Когда он зачем-то рассказывал про композитора Сметану, все смеялись, думая, это шутка такая. Ну как сметана может быть композитором, сами посудите?

Вскоре у Азербайджана появится своя солдатская песня, быстро завоевавшая бешеную популярность. Даже малыши комично распевали ее и маршировали во дворах...

Припев:

*Марш ирели, марш ирели!*⁴

Азербайджан аскери.

И мы тоже маршировали в школьном дворе.

– Еще говорят – Национальная армия, говорят, мы армян победим. Это разве будущие солдаты Национальной армии? Это позор какой-то! – возмущается Дадаш вроде и сурово, но с усмешкой.

– Ара, Дадаш Дадашевич, хватит да уже... Устали э... Перекур давайте.

– Я тебе сейчас как дам по жопе, а не перекур!

– Дадаш Дадашевич, можно выйти?! Эй, алё... Выйти э, в туалет...

– Можно Машку за ляжку, а у нас разрешите! Отставить разговорчики! Фархад, выйти из строя на два шага.

Фархад выползает.

– Для чего нужна в автомате Калашникова газовая трубка со ствольной накладкой?

– А ну это... Как сказать... Газ чыхыр. Газ выходит да... Из него да...

– Гетуден газ чыхыр! Из задницы твоей газ выходит. Стать в строй, идиот, – улыбается Дадаш. Мы ржем.

Военрук меня спрашивать любил. Я ему все это: и «начальную скорость полета», и «скорострельность», «темп стрельбы», и «прицельную дальность», выдавал как автомат, скороговоркой, не особо вдумываясь. А солдат и не должен думать. Метры, минуты, секунды, миллиметры – все эти прелести легко запоминал.

Я умею разбирать и собирать автомат Калашникова.

Когда нам еще было рано заниматься начальной военной подготовкой, проходить предмет НВП, я ходил в кружок, организованный Дадашем, «Юный стрелок». Для продвинутых десятиклассников он организовал кружок «Меткий стрелок». Впрочем, стрелки, и юные и меткие, терлись вместе.

На «Метком стрелке» девушки в тщательно отглаженных платьицах и с длинными ногтями с аккуратным маникюром упражнялись в «неполной разборке и сборке автомата Калашникова». Одной девушке с роскошными светлыми локонами, с которой Дадаш усиленно, но весьма невинно флиртовал, удалось за 28 секунд разобрать и собрать. У меня результат очень скромный – почти минута. Я могу быть медлительным и заторможенным.

Не люблю экзаменов и соревнований.

После сумгаитского погрома к нам в школу пришли из милиции и лишили ее самого таинственного и волнующего для меня – автоматов. Так нам сказали. Это были учебные старые Калашниковы, но власти все равно опасались, что их расхитят «хулиганствующие элементы». Смешными кажутся эти все условности, когда армяне стали официальными врагами. Еще была малокалиберная винтовка, которую тоже изъяли. Оставили только «воздушку».

Оружие всегда было приятно подержать в руках, почувствовать его тяжесть. Пацаны взваливали автоматы на плечо и красиво становились в разные позы. Дадаш за такое позерство мог и подзатыльник отвесить. Старшеклассники изображали никарагуанских «контрас», похабно развалившись с автоматом и сигаретой в уголке рта, на фоне картонных плакатов с одинаковыми схематичными солдатами и бодрыми гражданскими в противогазах. Незажженной сигаретой, конечно. Дадаш задницу надерет, если закуришь в классе. Никто тогда и не догадывался, что у нас тоже скоро будут «контрас».

Когда я дорос до НВП, предмет стал называться ДПЮ, допризывная подготовка юношей. Это получалось скучнее и суровее: уроки не для девочек, только для парней, которых ждет скорый призыв.

Весь год валяли дурака, а под конец учебного года Дадаш решил провести вроде усиленных уроков, освободив нас от всех остальных. Наверное, план ему такой прислали в связи с общим обострением ситуации на фронтах.

И вот мы учимся рыть окопы на берегу озера, бросаем муляжи гранат. Скоро на берегу озера появится кладбище. Из Карабаха привозят гробы. Автоматы и «мелкашку», изъятые советской властью, независимая власть школе так и не вернула, арсенал наш скромнен: учебные гранаты, мины, магазины, которые надо на скорость снаряжать.

Когда военрук разрешает перекур, все сидят на корточках, «по-блатному». Попыхивают сигаретками как бывалые хулиганы.

– Смотри, как Рустам, прям как настоящий барыга курит, – отпускает мне Заур сомнительный комплимент.

Дадаша хватило на пару занятий на открытом воздухе. Самым продуктивным из всего этого было рытье окопов. Несколько настоящих окопов мы таки вырыли. А вот со стрельбой получилось хуже. На всех была только одна «воздушка». И стрелял из нее в основном сам капитан Дадаш. По нашим провинившимся или наглеющим пацанам.

– Эй, Дадаш Дадашевич, вы чего, совсем что ли? Вы меня подстрелите, я жаловаться буду! – вприпрыжку отбегает от военрука Заурчик.

Дадаш не спеша берет на мушку, целясь в зад или в ляжку.

– Ааааа!!!

Цель, по-видимому, поражена. Было страшно весело.

Однако пацанам на год-два старше нас уже совсем невесело. Им уже не в привычную советскую, а национальную, маленькую такую армию, которая посылает на маленькую, но настоящую войну. Которую еще к тому же и жестко проигрывает.

На День Победы 9 мая армяне взяли Шушу. Шуша, или по-армянски Шуши – город, населенный азербайджанцами в 11 километрах от Степанакерта, имел для двух народов важное значение. Старая столица Карабахского ханства. Потеря города очень болезненно была воспринята в Баку. Армянские успехи сильно раздражали азербайджанцев.

20

В начале мая Тамик выполнил свое обещание и появился к Ольге Васильевне с боссом: молодым еще, невысоким, довольно надменным усачом с почетным пузом.

Тот, недолго думая, отсчитал задаток за квартиру, как в Баку говорят, «бей». По народным обычаям этот задаток остается у хозяина, если покупатель по каким-то причинам откажется от покупки или не внесет полную сумму.

В данном случае задаток был не символическим, как обычно, а весьма жирным. Все оказалось проще и быстрее, чем представляли Ольга Васильевна и я. Правда, босс предложил слегка повременить с завершением и оформлением сделки. Может, он что-то знал о надвигающемся перевороте и ему надо было выждать, посмотреть, что за типы возьмут власть и не начнут ли они раскулачивать во благо родины новых азербайджанцев? И сохранят ли его родственники свои посты?

Хозяин Тамика, видно, ценил свое время и имел привычку убивать сразу всех зайцев. Он посадил Ольгу в машину и поехал вместе с ней к Ларисе, ее золовке, Лидиной тете, которая недавно похоронила мать. У Ларисы детей не было, с мужем, между прочим, армянином, она развелась и тоже страстно мечтала покинуть Баку и переехать в Россию.

Боссу квартира на проспекте Нефтяников, в престижном центре, понравилась гораздо больше Ольгиной. Он стал заметно разговорчивее, даже пару раз выдавил улыбку, сверкнув золотом коронок. Спросил, кто живет на лестничной клетке, озадаченно поцокал языком. Наверное, решил скупить этаж. И лично для себя, он давно мечтал жить в центре. Но задаток выдал поскромнее, сказал, что о цене надо еще говорить, дело все это большое, непростое. Расплатится за квартиры, мол, в июле, а может, и в августе. Но цену даст хорошую и посоветовал ни с кем больше дела не иметь. Лариса быстро и согласно кивала, она была слегка ошарашена, даже немного напугана, может, от неожиданности. Но сердце хоть и стучало, душу грел задаток, с деньгами было совсем худо.

И вот Ольга купила билеты на самолет, себе и Ларисе, и дамы отправились в Москву. Оттуда намеревались поехать в Ярославскую область, к Ольгиной родне. Навестить Ольгину мать, которая серьезно заболела, и разведать, как там жизнь, и, возможно, подыскать какие-то варианты по покупке жилья.

Ольга взяла в школе срочный отпуск за свой счет, а Ларисе и отпуска брать не надо было, ее недавно уволили. Вернее, учреждение, где она работала, полностью развалилось и было аннигилировано.

Уехали мама и тетя Лиды 14 мая, а вернуться намеревались 20-го. К моему несказанному счастью ее они с собой не взяли. Скорее всего, из экономии, билет в Москву на самолете был очень чувствительной для них тратой.

Лида с ними ехать не хотела, но явно этого не показывала, опасаясь, что мама заподозрит неладное. Но мне кажется, Ольге было не до подозрений, эта неожиданная близость ее заветной цели сделала ее суетливой и рассеянной.

Из соображений безопасности Лида все это время должна была пожить в квартире покойной бабушки. Она мне об этом объявила с легким ужасом. Все же центр города, публика приличная, рассуждала Ольга. К тому же она опасалась, что, узнав об ее отъезде, дочь кто-то обидит, да те же пострадавшие от нашего общего коварства Васи́ф с папашей. Я бы лично не стал их так демонизировать.

– Мама тебе будет звонить. Я тебе наготовлю, ты, главное, кушай вовремя... И не скучай.

Лида потерянно и обреченно кивала. В тех же целях безопасности ее освободили от школы на эти дни. Ольга работала в той же школе и договорилась с коллегами. По ее просьбе, девочку отоварили заданиями сразу на неделю.

– Особенно постаралась занудная историчка. Кому эта ее история нужна, блин? Она сказала, что вроде зачета для меня устроит на следующей неделе. И конспекты надо подготовить. Как она всех достала этими конспектами, ужас. Типа надо все писать, расписывать.

– Фигня, история как раз фигня. А писать и я не люблю. Но я тебе помогу.

Лидина мама также заявила, что они с тетей не возражают, если какая-нибудь подружка поживет с ней это время. Да хоть бы Марина. А еще сказали проверенной соседке, чтобы поглядывала за девочкой.

На эти дни я решил взять отпуск. Такой случай побыть столько дней вместе, может, уже и не представится.

– Натик, просьба есть... Мне нужна неделя, вернее, шесть дней, вернее, пять рабочих, – обратился я к своему начальнику.

– Что? Какая неделя? Зачем неделя?

– С 14 по 20-го. Ну, типа отпуск... Или отгулы...

– Ты и так одну неделю недавно не приходил на работу. Так работать не пойдет!

– Я же не виноват, что тогда так получилось! Я же болел, вернее, голову разбил. Это же было по уважительной причине.

– А зачем тебе опять отпуск? Опять бошку разбил?

– Ну что ты издеваешься прямо... Ну надо...

– А кто работать будет? Я больше за тебя сидеть не буду и никого искать не буду.

– Я все решил, мой друг посидит, одноклассник. Он парень умный, лучше меня в газетах разбирается.

А, знаешь, как считает? Отличник по математике.

– Решил он... Деловой стал, блин.

– И его не кинешь, серьезный парень, не какой-нибудь дурачок. И честный. Он посидит неделю, точно как я. Заплатишь столько же, сколько и мне, и все нормально будет.

Натик, с деланной озабоченностью повертев головой и сделав суровый взгляд, нехотя согласился.

– Ты его в курс дела введешь?

– Конечно, конечно, шеф, не волнуйтесь. Усё будет в лучшем виде.

– Клянусь, в последний раз э тебя так прикрываю!

– Спасибо, дорогой шеф. Я этого не забуду.

Тельман человек принципиальный, его пришлось поугovarивать, но деньги карманные всем нужны.

После падения Шуши Муталибов решил вернуться, стать диктатором и спасти страну от катастрофы. Так он заявил. У здания парламента его сторонники организовали митинг с требованием восстановления его на посту президента.

Утром 14 мая мама и тетя Лиды отправились в аэропорт. В тот же день на сессии парламента за возвращение Муталибова на пост президента проголосовало большинство депутатов. Оппозиция на заседании отсутствовала.

Это был чудесный майский день. В Баку майский день внешне выглядит всегда чудесным, и у человека, не отягощенного тяжкими раздумьями, бакинский май – праздник каждый день. А у меня никаких раздумий не было, только скакали радостные, суетливые мысли, я спешил в гости к Лиде. Считал минуты и нервно курил. Сдал после школы свое рабочее место другу, проинструктировал его, захватил в нашей палатке шоколадок и «Фанты», купил в соседнем магазине бутылку «Азербайджан шампаны», затем забежал домой, накормил Рекса и срезал в нашем садике семь больших роз.

Папа любил разводить розы и маленькие острые перчики-чили. В детстве розы я дарил училкам, так было принято. У нас было несколько хороших кустов и маленькие совсем, косо воткнутые в землю черенки, многие из которых быстро погибали, часто виновником их гибели была активность Рекса. Я срезал папиными садовыми ножницами самые красивые, розовые и белые, они были великолепны на вид и распространяли густой аромат. Честно говоря, после того как их срезал, больше красивых роз в палисаднике и не осталось. Я завернул цветы в газету, уж чего-чего, а газет у меня было полно, и, прихватив кассеты, шоколадки, газировку и шампанское, отправился к Лиде.

Мне было немного неловко идти с цветами, казалось, все догадываются, куда я бегу, и еще глупая песенка звучала в голове: «розовые розы, Светке Соколовой»...

В общем, лезла всякая фигня в голову, самыми ужасными из всего этого были мысли, что розы помнут грубые и суетливые пассажиры в транспорте, Лиды по каким-то причинам не окажется дома или она вдруг передумает и не откроет мне, и вообще я забуду адрес ее покойной бабушки.

– Это мне? – она явно смутилась, но, впрочем, слегка. – Спасибо... Приятно пахнут...

Первым указом в тот же день Муталибов ввел в Баку чрезвычайное положение и комендантский час с 15 мая. Оппозиция начала митинг у штаба Народного фронта.

Мы сделали по паре глотков, еще по паре. Закусили конфетками.

– А где твоя комната? – спросил я, сглотив. Сердце мое забилося, но я старался казаться непри-
нужденным.

– Какая моя? Я вообще-то здесь не живу.

– Ну, где ты спишь... Покажешь мне свою комнату? – лицемерно попросил я фразой из кино.

В квартире собственно было две комнаты, одна очень большая – настоящий зал, она же гостиная, там жила и умерла бабушка, а вторая – довольно маленькая комната, спальня тети, где должна была спать Лида.

Там на разложенном диванчике все это и произошло. Я не разрывал ее одежду в порыве страсти, я ее аккуратно раздел. Снял все, включая белые носочки. Их в последнюю очередь. Лида проявила опасли-

вую, но заинтересованную отстраненность. Была томна, доверчива и молчалива. Тело ее необыкновенно красиво в насыщенном свете южного майского дня, когда он уже расцвел и тихо созревает до вечера, и преломляются в окошке лучи, золотые и оранжевые, и появляются причудливые тени. Есть все-таки тут момент насилия, даже если девушка совсем не против, она вскрикнет и попытается вырваться, и как никогда уместен глагол овладеть. Получилось все быстро и скомкано. А как тут могло быть по-другому? Хорошо еще, что получилось.

В сумерках мы, полностью одетые, чинно ужинали, допили шампанское, ели какие-то котлетки, которые оставила мама Лиды. Моя любовь утомленно и смущенно улыбалась, потом сказала, что, видимо, заболела, устала, ощущает полный упадок сил.

Легла и заснула, оставив меня одного со всем моим счастьем, от переизбытка которого у меня развилась жуткая тревожность. Отчего это она плохо себя чувствует? Может, я виноват в этом? Все настолько хорошо, что так просто не может продолжаться. А что будет, когда вернется Ольга?

Лидя легла спать. Вот так часто бывает с девушками, тогда-то я не знал, а потом понял, что так часто бывает. Возьмут и лягут спать, а, как известно, ложиться спать в сумерки – дело тоскливейшее.

Я допил остатки шампанского, покурил в форточку на кухне и пошел в гостиную посмотреть телевизор. Сел поближе к нему, чтобы переключать каналы кнопками, да и не хотелось сидеть на диване, на котором, как подозревал, бабушка умерла, во всяком случае, она жила в этой гостиной. Да и Лидя спала.

Наше азербайджанское телевидение бурлило. Муталибов оказался никудышным диктатором.

В полночь так красиво и торжественно забили часы, что я офигел. Старинные часы с боем в гостиной. Там же и старое пианино, и массивный черный обеденный стол.

Утром мы пили чай за этим огромным столом, а потом я попросил ее поиграть что-нибудь. Она говорила, что закончила семь классов музыкальной школы.

Я выбрал «Лунную сонату» из нот, которые были на пианино. Я хотел послушать действительно стоящее, клеевое, а знал мало чего. Она согласилась, сказала, как раз первую часть «Лунной сонаты» и «К Элизе» она умеет играть лучше всего. Тогда я еще не знал, что у «Лунной сонаты» есть три части.

Я сел на пол позади нее, чтобы не отвлекать. Она заиграла, неуверенно, потом прервалась, начала снова. Мне казалось, она играет волшебю, хотя я совершенно в этом не разбирался. Ее ноги в шерстяных носках, икры поражали меня своим совершенством и выглядели очень трогательно, если так можно сказать о ногах. Пару раз она давила на педальку.

Я откинулся и лег навзничь прямо на пол. Смотрел в старинный потолок с лепниной вокруг люстры. Мне казалось, я легко могу умереть за нее. Зачем умирать? Но даже обидно, что не нужно отдать за нее свою жизнь. Я этот момент много раз проигрывал в своем воображении. Как я погибну за нее. Такая вот юношеская глупость.

На старом столе в хрустальной вазе стояли розы.

21

Утром 15 мая руководство Народного фронта предъявило Муталибову ультиматум с требованием добровольно уйти до 15.00 с поста президента. На улицах появились солдаты, вооруженные люди и танки. Танки бывшей советской 4-й армии вроде бы окружили резиденцию президента. Но они не вмешивались в происходящее, за кого азербайджанские солдаты и полиция, тоже было непонятно. Митинговали десятки тысяч людей, несмотря на то, что «диктатор» запретил митинги еще вчера.

Когда мы днем вышли пройтись по Бульвару, в разные стороны сновали толпы возбужденных парней, слышались щелчки и хлопки. Возможно, где-то недалеко стреляли, там все рядом, и Дом правительства, и президентский дворец.

В общем, не самое лучшее время для романтических прогулок. Мы вернулись домой.

Как это описать? Когда в 17 лет в пустой квартире с девушкой, которую ты вчера лишил невинности. Что мы делали? Я мгновенно к ней «пристал», я так долго сдерживался, все утро. Боялся, ей будет больно. Лидя вела себя все так же отстраненно, но с нарастающим интересом. Я больше не нервничал, старательно показывал, какой я мастер в любовных утехах. Мое наслаждение проистекало из этого самого факта, что у нас такое случилось, из прикосновений и разглядывания, а не из своих ощущений. Они были чуть ярче, уже не скомканы, но только зрелый мужчина может по-настоящему наслаждаться процессом.

Судя по тому, что случилось дальше, Муталибова защищать явно никто не собирался. Ну, может,

только его личная охрана, и то вряд ли. С истечением срока ультиматума оппозиция двинулась к президентскому дворцу и вскоре захватила власть в городе.

Президентский дворец осадили оружием тетки в годах. Они истощно требовали отставки Муталибова и пытались ворваться в стеклянные двери. Охрана деликатно препятствовала, теток бить азербайджанские солдаты и полицейские не будут.

Это все показывали по телевизору. Одну из теток Расул узнал, эта крикунья и склочница работала на мебельной фабрике. Тетки собрались то ли за деньги, то ли просто из склонности поскандальить. Оппозиция направляла их гнев в правильное русло. Все подробности большой политики Расул оперативно узнавал от шофера Муталибова, он был знакомым его знакомого. Правда, не тот шофер, который возил самого президента, а тот, который обслуживал его семью.

Расул искренне болел за Муталибова, городского, русскоязычного человека с привычным, солидным и симпатичным лицом начальника.

В шесть вечера Народный фронт по телевидению объявил, что столица контролируется силами оппозиции. При этом оппозиционеры признали, что президентский дворец пока не занят. Срок ультиматума Муталибову был продлен до восьми часов вечера. В девять оппозиция после небольшой перестрелки захватила президентский дворец. Муталибов успел бежать. С военного аэродрома он вылетел в Россию.

В июне президентом Азербайджана стал бородатый Абульфаз Эльчибей, сразу бакинскими островами прозванный львом Бонифацием за внешнее сходство.

Русские в Азербайджане новый режим встретили с резонным опасением. К власти пришли националисты, и это производило на всех русскоязычных удручающее впечатление. Даже упрямые молокане, которые были известны преданностью своим селам, начали подумывать об отъезде в немилую им Россию, откуда ушли или были высланы их предки.

В глазах бакинцев высокий, худой, совершенно не ассоциирующийся с образом азербайджанского начальника, президент выглядел слегка юрдовым. Многие ему сочувствовали и жалели, считая его безобидным и честным человеком, не стяжателем. До инаугурации он жил в бакинской «хрущевке» брата. Говорят, Эльчибей на людях аскет и демагог, любил выпить водочки и вдоволь поесть шашлыков. Мол, на его даче каждый день барана резали и президент был постоянно бухой. Думаю, и это народная фантазия.

Реальную власть, реальную вооруженную силу в своих руках сосредоточили два человека – наш старый знакомый математик Рагим Газиев, которого еще в марте назначили министром обороны, и Искандер Гамидов – с мая министр внутренних дел, тоже член Народного фронта. Этот худощавый, небольшого роста бывший офицер милиции, ставший генерал-лейтенантом полиции, сразу прослыл человеком взрывным и одиозным.

С претензией на элегантность, в костюмчике-галстук, в темных очках на пол-лица, он имел привычку врывать в офисы политиков и журналистов и лично давать им, так сказать, в лицо. В народе говорят, он навалил самому президенту, когда обнаружил его сильно пьяным на даче перед важной встречей с иностранной делегацией.

Гамидов стал лидером азербайджанского отделения турецкой организации «Боз гурд»⁵. Плакаты с серым волком на фоне полумесяца в Баку стали встречаться на каждом шагу, в том числе и на задних стеклах полицейских авто.

Через десять дней после взятия Шуши армяне взяли стратегически важный азербайджанский городок Лачин, и соответственно был открыт так называемый Лачинский коридор. Нагорный Карабах, окруженный азербайджанскими районами, получил общую границу с Арменией и дорогу на Большую землю.

Народный фронт обещал победить армян и получил поддержку народа. Победа над армянами – самый важный вопрос. С остальными проблемами можно и подождать. Жить становится все хуже, хотя Народный фронт всегда трубил о том, что, если Москва не будет забирать нашу нефть, «мы будем жить как Кувейт».

И новое правительство пытается выполнить свое главное обещание, раз уж неспособно построить Кувейт.

Арсеналы пополняются, как открыто, путем дележа с Россией советского оружия, так и по разным другим каналам. Например, можно что-то купить у командиров покидающей страну российской армии, что-то просто отнять, блокируя проходные части активистами и оружием женщинами. Можно договориться с поставщиками из Украины в обмен на нефтепродукты.

Если есть оружие, то надо набирать людей. Все, казалось бы, просто, надо призывать людей, как в

советское время. Ввести всеобщий призыв, отменить советские отсрочки официально новые власти не решаются, но за военкомов взялись основательно. Откосить теперь крайне сложно, почти невозможно. Наша соседка, женщина в советское время состоятельная, «со связями», отмазала от советской армии двух старших двухметровых сыновей, а младший, тоже рослый – пошел служить в азербайджанские войска. Он на два года старше меня, мы с ним в детстве дружили. Кое-как парня отмазали от боевых действий. Но в частях МВД ему тоже досталась служба нелегкая – в похоронной команде. По полю боя трупы собирать и в грузовик грузить – это нервишки расшатывает, по правде говоря.

Лида в футболочке и трусиках сидит, поджав ногу в белом носке, а второй недовольно болтает, погрызывая ручку. Взгляд у нее томно-задумчивый. Я копаюсь в учебнике истории.

- Нет, точно, ты и вправду меня сильно любишь, – говорит она.
- Это почему? – отвечаю, не отрываясь от книжки.
- Что почему, что не любишь?!
- Нет, люблю, конечно, но зачем ты это сейчас сказала?
- Потому что делать уроки – это такая тоска. А ты мне помогаешь... Одно дело подрасться за девочку, а другое помогать делать уроки. Когда ты с книжкой, ты такой умный.
- Твоя мамаша так не считает. Чувствую, скоро твой Коля будет делать тебе уроки. Он же вундеркинд.
- Что это он мой? Вот и не будет.
- Почему ты так уверена?
- Потому что я не захочу. Он мне не нравится. Он скучный и слишком правильный.

22

Последнего звонка и выпускного у нас не было. Администрация школы сказала: когда победим армян, тогда и будет вам выпускной. Армян так и не победили.

Сами же учителя не хотели лишать себя праздника. Малахат, обычно показно строгая, подозвав меня в школьном дворе, доверительно понижает голос и заходит издалика:

- Ты же серьезный парень, не как эти твои одноклассники. Ты поступать будешь, аттестат тебе хороший нужен, – она по-свойски улыбается и даже подмигивает... – Учителя посидеть хотят немного. Скажи маме, пусть приготовит, ну, долмаддан-заттан⁶...

Мы все же по традиции прикупили костюмы, а девочки явились в школьной форме, которую давно уже не носили, и белых фартуках. К груди прикололи заранее купленные желтые пластмассовые колокольчики. На белых рубашках и белых фартуках, по бакинской традиции, следовало писать друг другу пожелания и ставить автографы. Какое-то время мы этим занимались, болтали, шутили, смеялись, потом попили шампанского и разошлись.

Мы с Тельманом пошли в центр, на Бульвар, на набережную. «Центровые» мальчики и девочки гуляли веселыми стайками. Может, им разрешили все же выпускной? Может, у нас бегут впереди паровоза? Раньше выпускники на Бульваре встречали рассвет.

- Мы чужие на этом празднике жизни, – сказал с улыбкой Тельман и куда-то свалил.

Я сидел и смотрел на яркое море. Было накалено и лучисто, чайки скользили в потоках вялого ветерка, лениво покрикивая. Пахло морем, остро пахло солью, соленой водой и чуть тинной. Поднявшаяся вода подбиралась к асфальту, вымачивая его, подтачивая и просачиваясь, пытаясь угнездиться плацдармами луж. Но солнышко приходило на помощь суше.

Сидел один на скамеечке, пальцы были слегка липкими от мороженого. Хотел было закурить свои Магна, непонятные сигареты, да не было спичек. Я был похож в своем сером, двубортном, полосатом чехословацком костюме и белой рубашке (не дал ее портить все же чернилами, неаккуратно выглядит) как принарядившийся юноша-выпускник из 41 года, которому завтра на войну, но он еще об этом не знает. Ну, у нас война и идет. Встал, нашел автомат и с замирающим, прыгающим сердцем стал ждать, когда прервутся гудки и возьмут трубку. Трубку не брали.

Через несколько дней я получил аттестат с гербом Азербайджанской ССР и медленно побрел из школы домой. Стоял полуденный зной. Было слегка грустно. Вроде и школа надоела, но оттого, что так все резко обрубилось, сделалось скверно на душе. Не было выпускного из-за какой-то там дурацкой войны, ну и фиг с ним, думал я. Особо теплых чувств к одноклассникам не испытывал. Что касается учителей, то в отсутствие мамы, которую вообще не стоило афишировать, банкет для них устроил Расул. Он купил им в изобилии разных шашлыков на вынос и несколько бутылок вина. Педагоги были в восторге и на

славу погудели в учительской.

Надо отметить это дело, обмыть аттестат, подумалось мне, когда я пришел домой. Как назло, никакой выпивки дома нет. В шкафу на кухне нахожу медицинский спирт, который папе по какой-то надобности презентовала одноклассница, медик. Маленькая бутылочка. Мы этот спирт использовали в медицинских и технических целях, я, к примеру, им «головки» магнитофона чистил. Налил меньше половины граненого стакана, добавил кипяченой воды из чайника, размешал. Держа в левой руке аттестат, произнес краткий тост. Осторожно выпил до дна. Бррр... Теплая и противная огненная вода. Не было холодной кипяченой воды, охлаждать было лень, а из-под крана у нас пить сейчас опасно. Тем более спирт, говорят, надо очищенной водой разводить. Закурил на лестнице. А потом лег на диван и мгновенно отрубился.

В вузах была введена тестовая система вступительных экзаменов. Результаты тестов обрабатывались на компьютере по турецкой системе. Говорят, в самой Турции. Это почти полностью искореняет возможность «поступить за бабки» и соответственно получить отсрочку.

Тельман, вопреки пожеланиям родителей, все же поступил в военное училище, на турецкую военную академию не хватило баллов. Училище переживало какие-то непонятные, переходные времена. Эльза поступила на юрфак Бакинского университета, а я тоже попытался и не поступил. А больше из нашего класса никто и не пытался поступать. Времена какие-то не такие.

Я поступал не в Баку, а в Пятигорске. В Пятигорский институт иностранных языков, на англо-немецкий факультет. Вуз довольно солидный, и факультет в этом заведении самый престижный. Конкурс бешеный, иностранные языки пользуются небывалым спросом. Все хотят «знать язык» и работать в красивом офисе «западной компании», а еще лучше свалить на этот самый Запад.

Английский сдал на «хорошо», я занимался с армянкой, которая жила подпольно в Баку с мужем-азербайджанцем и мечтала уехать в Штаты. Муж был инженер-нефтяник, а она – учительница английского. Они какое-то время жили и работали в Финляндии, там она отшлифовала язык со знакомыми британцами. И привезла шикарные пособия и TOEFL. Со временем ее мечта осуществится, и они с мужем выиграют грин-карты. Уедут, а двое взрослых детей, парень и девушка, предпочтут остаться в Баку. Учительница будет работать продавщицей, а инженер – сторожем.

А вот русский я завалил и по конкурсу не прошел. Все эти правила и разборы не запоминал и толком выучить не мог. Ну и ладно, никто особо и не переживал. Мама вот переживала, это да. Звонила, укоряла. Наверное, это просто не мое, я подался под всеобщим влиянием не на свою стезю, успокаивал себя. Надо делать то, что нравится, и значит, не судьба. На следующий год попробую в Москве. Надо получше подготовиться, рассуждал я. В Баку оставаться не собирался. Потому что Лида все равно уедет.

23

В то лето я был абсолютно счастлив, но, вспоминая его, до сих пор ощущаю тревогу и чувство неопределенности, неуверенности в завтрашнем дне в прямом смысле этого слова, зыбкости происходящего.

Мы с Лидой сидели на пляже как взрослые. Лежать и загорать я не любил, Лида полежала и тоже села. Мы молчали и смотрели на жаркое море, это наше гигантское озеро. Я думал, что где-то далеко таинственный Иран, тогда он еще мне казался таинственным, однако все же не таким таинственным как в детстве.

– Лида, ты обгоришь, – сказал я и накинул свою футболку ей на плечи. Я не удержался и лизнул ее соленое плечо. Она посмотрела на меня снисходительно.

– Голову не припекает?

– Отстань... Ты прям как мама, – сказала моя любовь.

Посидели еще, хорошо что будний день и народу было немного.

– В детстве поехать на пляж – был самый мой большой в жизни кайф. Обычно меня дед Гриша возил...

– А сейчас какой?

– Не скажу.

– Дурак... А мы с папой ездили. Еще и рыбу ловили, на скалах...

– Бычков?

– Почему бычков, не только бычков... Еще каких-то других рыб, я не знаю названий.

– А потом жарили?

– Тебе бы все о еде. Кошечек и котиков кормили... Еще мы с папой рыбок разводили, между прочим. Он меня учил аквариумы украшать...

– Кто бычков держит в аквариуме?! У меня товарищ сазанов держал, но в бассейне... Во дворе.

– Ну, для аквариума мы ловили дафний, для рыбок. Водоросли искали... Рачков, медуз... И вообще, что ты пристал, а?

– А в ванну рыб вы не запускали? Вот у меня дед как-то купил сазанов живых, но было не лето. Осень или весна, а может, и зима... Они плавали в ванной у бабушки на Завокзальной, пока их не съели, не сварили уху и не зажарили. Я был совсем маленький и был в восторге. Здоровые такие. Жили они совсем недолго, ведь надо людям купаться, но мне казалось, что долго, и это вроде такого праздника длинного... И правда, жрать захотелось, пойдем покушаем, может...

Иногда деда еще надо было уговорить поехать. Путь все же не близкий, километров тридцать-сорок, а дела всегда найдутся. Дед, хитро улыбаясь, выдвигал условие:

– Если хоть веточка пошевелится, не поедет. Значит, если здесь небольшой ветерок, на море будет сильный ветер.

Еще он говорил, например: «Солнце красное к утру моряку не по нутру»! Мол, ветра надо ждать. Он же моряком был в молодости, вот и нахватался поговорок. Дед был рулевым и комсоргом на судне «Кремль». Ходил в Махачкалу, Астрахань, даже Иран. Есть у меня даже вырезка из газеты, на фотографии дед в юном возрасте, до войны еще, красит какую-то трубу. И надпись пояснительная: «Матрос-стахановец танкера «Кремль», секретарь первичной комсомольской организации Григорий Вардересов за окраской ветренника». Потом дед сменил окончание на правильное, армянское и стал Вардересяном.

В детстве я с нетерпением, диким нетерпением и предвкушением счастья ждал, когда вдруг между ослепительно солнечным безоблачным небом и желтой выжженной степной полосой покажется лазоревая линия на горизонте. Линия ширится, плотнеет, наливается синью.

Я кричал «Ура!!! Море!» Но до пляжа было еще ехать и ехать. Мы приближались, а заветная линия к моему кратковременному огорчению пропадала, и показывался поселок. Дома, заборы, сложенные из камней, голышей без всякого раствора, по старинке, а вот пионерлагерь, а это морская часть с якорями и звездами на железных воротах, узкие улочки, пыль. А вот потом снова показывалось море уже во всей красе, самодовольное, невозмутимое, как здоровая, красивая, загорелая крестьянка. Как же спешишь раздеться и залезть в эту холодную воду. Каспий прохладен в любую жару. Не было в детстве для меня большего счастья, чем окунуться в него.

Иногда шел купаться и дед. Такое бывало редко. Старался как можно ближе подъехать к воде, это легче в будние дни, когда народу поменьше. В выходные все лежали плотно, загорали.

Раздевался не спеша в «Запорожце», отстегивал протезы. Левая нога отрезана ниже колена у икры, на правой нет пальцев. Это, товарищи, последствия боев с немцами осенью 1942 года в Абхазии у озера Рица, такого красивого, что дача Сталина даже там была. Ранение, осколки, три дня ползком по снегу, гангрена, госпиталь в Тбилиси, потом в Баку, потом все же ампутация и инвалидность в 19 лет. Орден Красной Звезды, и никаких тебе больше кораблей.

Григорий, сидя, боком, ползком добирался до моря, руками отталкиваясь от горячего песка. Вот уже вода, слишком мелко, еще усилие, и всё, поплыл. Красиво, умело, кролем и брасом, и на спине, отдыхая, плескаясь, потом снова вперед и уже его почти не видно.

В море ноги нужны, но не как на земле, рук опытному пловцу вполне хватает.

Он просился в военно-морской флот, но попал в Тбилисское пехотное училище. Вообще у него была бронь, он не подлежал мобилизации. Мне в детстве говорили, дедушка добровольцем ушел на фронт. Потом я узнал, что формально да, добровольцем, но фактически он вынужден был поступить так, поскольку «прозевал» по каким-то причинам отход своего судна. Оpozдал, получается, не явился на борт, не вернулся из увольнения. Даже представить себе было страшно, что за это могло быть тогда, в 1941 году.

Совершив проступок, дедушка, недолго думая, пришел в военкомат и попросился на фронт добровольцем. Сказал, что именно поэтому и не явился на судно. Так и стал он комсомольцем-добровольцем. Проиgnорировав желание отправиться в военный флот, военкоматские чины всё же оценили то, что дед был комсоргом и стахановцем, и отправили его в Тбилисское пехотное училище.

В память о флоте Григорий заказал татуировку большого на всю грудь матроса в бескозырке с гранатой в поднятой руке и автоматом – в другой. Внушительно и реалистично выглядел синий героический матрос даже по прошествии многих лет, хотя и порядком скукожился. набросок сам дед делал, он же с детства неплохо рисовал, а после войны по вечерам живописью занимался.

Орден Красной Звезды – красивый, строгий, простой, но элегантный, ради которого я в детстве продиравил дорогой дефицитный «импортный костюмчик» из футболочки и шортиков, за что мне досталось,

так вот этот орден тоже украли среди прочего. Пластмассовая шкатулочка с наградами и значками была среди вещей, которые бабушка упаковала в большие одинаковые картонные коробки. Так удобно, ворвался и взял коробку. Правда, не знаешь, что внутри – сюрприз. Но можно вскрыть, всласть пошарить, пошакалить. Нашли орден? Дали как игрушку детям, догадались ли продать, или просто выбросили на помойку? Были и другие награды: медали и Орден Отечественной Войны, который вручали на 40-летие Победы, но их не так жалко.

Мы пошли в пляжную харчевню. Какая-то грубо сколоченная будочка, пара столиков под навесом и зонтами, мангал. К нам подошел парень в шортах, я заказал минеральную воду, лимонад и шашлык, а что еще тут заказывать? Зато шашлык именно в этом месте был хорош, мы тут уже ели. Никого не было вокруг, понедельник, и нам явно были рады.

– Хотите рыбу? – спросил парень.

– Какую рыбу?

– Вон висит, только этой ночью выловили. Совсем свежая. Тебе понравится, – показал рукой и подмигнул мне.

На крюке была подвешена огромная рыбина, думаю, белуга. Может, бывают и побольше, но я не видел. Ветерок усилился, чуть запахло йодом, море в двух шагах. Большая рыба мне напомнила Хемингуэя. Мы хотели рыбу. Я заказал белое вино «Аг-Суфре», чувак обещал послать за ним в магазинчик. Они сделали шашлык из крупных кусков рыбы, это и правда было очень вкусно.

А потом она сказала, что уезжает в субботу. Вот так.

24

Море, конечно же, свинцовое. Дует ветер, чайки. Тучи, через которые раз, и пробьется лучик солнца. В общем, всё как полагается. Однако нас сюда грузят не видами любоваться, поэтому просим пожаловать в трюм. А что вы думали, в каютах нас собирались эвакуировать? Нет уж, и приходится влезать в тесный люк и спускаться по трапу, который всё же похож на нормальную лестницу. На самом деле это не трюм, а трансформаторный отсек, как мне позже объяснил усатый мужик лет за 40 в сером пальто и ушанке. В отсеке много железных штук, какие-то машины-приборы и много циферблатов, похожих на манометры. Другие «пассажиры» называли наш трюм машинным отделением.

Преобладает казенный темно-зеленый цвет, остальные – обычные неброские цвета, желтый свет. Рыжая «скамейка» – вроде спинка дивана, положенная на брусья. На нее усаживаем бабушек, сидячие места – дефицит, там сидят по очереди старухи. Многие пассажиры пришли раньше нас, им выдали стандартные армейские ватные матрасы, естественно, без простыней. На хаотично разбросанных матрасах люди и валяются. Но у многих матрасов никаких нет. Не выдали и нам. Бабушка Эмилия не смогла бы сидеть на матрасе, слишком низко. Большая удача усадить наших бабушек на «скамеечку». Хоть по очереди, но будут сидеть. В «трюме» не холодно, я расстегиваю куртку, но полностью снимать верхнюю одежду незачем – температура гораздо ниже комнатной.

Матросы раздают еду – в железных мисках очень жирные свиные котлеты. Из-за большого количества сала в фарше котлеты рыхлые. На человека по две котлеты, пару кусков серого хлеба. Мы с Офелией съедаем весь паек, выданный на нашу семью. У мамы и бабушек совершенно нет аппетита – нервное. К тому же бабушка Эмилия терпеть не может казенной пищи, а Парандзем не любит свинину, особенно жирную.

Усатый в пальто и ушанке ест с аппетитом, внешне чем-то напоминает Эдуарда Сагалаева. Он оказался нашим соседом, его матрас – напротив «скамейки». «Сагалаев» удовлетворяет мое любопытство, чувствуется, он умеет добывать информацию и наблюдателен. К тому же уже успел пообтереться на корабле. Говорит, «Эмба» не совсем военный корабль, задачи у него вполне мирные – прокладывать кабели по дну моря. А Эмба – это река в Казахстане. Надо же в честь какой-то незначительной реки называть судно, думал я. Если бы река была значительной, я бы о ней слышал, а раз не знаю, то речушка, видно, так себе. Я не знал тогда, что Эмба река солидная, потом я ее на карте нашел. Есть даже город Эмба и ракетный полигон Эмба у берегов этой реки. Эмба впадает в Каспийское море. Правда, только в половодье.

Сейчас я знаю, что «Эмба», которая увезла бабушку, ее сестру и племянницу прочь от родного города навсегда, а меня эвакуировала берега моего детства – малое кабельное судно, построенное аж в Финляндии. Входило в состав Вооруженных сил СССР, числилось в Краснознаменной Каспийской флотилии. После распада Союза «Эмба» стала вспомогательным судном ВМФ Азербайджана.

Когда «Эмба» суетливо, легко и споро тронулась, всем стало веселее. Однако люди говорят, что, возможно, пойдем не в Махачкалу, а в Красноводск⁷. Слухи такие. Мама их опровергает, она уверена, что «едем» в Махачкалу. Нас Красноводск совсем не устраивает. Мы выглядим слишком лощеными среди этих несчастных, которым совершенно всё равно, куда их вывезут, лишь бы вывезли. Мы в отличие от них путешествуем не бесплатно. Папа дал жирному морячку, когда тот вернулся на его «Москвиче» к КПП, 200 рублей. Этих денег хватило бы, чтобы в «застойное», «мирное» время купить нам пятерым билеты на самолет Баку-Москва. Нас ждет в Махачкале Горинов. Какой Красноводск?!

Судно примерно через полчаса встало. В чем причина остановки? Стоим, покачиваемся на волнах. Нам ничего не говорят. Флегматичный усач в пальто начинает заметно нервничать. Он вполголоса рассказывает о том, что паром с беженцами недавно потопили. Погромщики, еразы, Народный фронт, в общем. В это не особо верится, слух, видно. «Сагалаев» пошел на разведку. Другие пассажиры тоже нервничают. Они боятся, что мы разделим судьбу пассажиров затопленного парома, скорее всего, мифического, как «Летучий голландец». Но как им удастся нас потопить? У Народного фронта нет артиллерии, мин, ракет, самолетов и эсминцев с торпедами подавно. Если только они каким-то образом умудрились заложить на борт хитрую взрывчатку, или сейчас подплывут и возьмут нас на abordаж как пираты, или протаранят кораблем, груженым мазутом и порохом. Или нас бросит подкупленная команда, погрузится в шлюпки, предусмотрительно продырявив дно. Все эти потенциальные ужасы, нарисованные услужливым воображением, я сразу отбросил.

Вскоре нам стало известно, что пойдем в Красноводск. Все так говорят, хотя официального объявления нет. Капитану неохота вступать в диалоги с людьми, тем более всем, кроме нас, по-видимому, всё равно. Красноводск так Красноводск. Нам не все равно, нас там никто не встречает, а Горинов придет за нами в порт зря. Это другой «конец», другой берег, Азия, и оттого мама немного растеряна и расстроена.

Вспомнилось, в Красноводск отправили 26 бакинских комиссаров, там же их расстреляли в пустыне. Больше вспомнить об этом городе нечего. «Сагалаев» поясняет причины, по которым мы идем не в Махачкалу, а в Красноводск. Махачкала – центр мусульманской автономной республики, и власти не смогли бы гарантировать нашу безопасность, узнал он. А что, Туркмения не мусульманская республика? Все вспоминают, что Красноводск именно в Туркмении, те, кто считает что в Казахстане – в абсолютном меньшинстве.

Причем тут религия? Зеленые флаги мелькали на митингах, и зеленые повязки были на головах юношей и девушек, но ислам был тут не причем. А если опасаться живущих в Дагестане азербайджанцев, то почему бы не опасаться азербайджанской общины в Туркмении? Возможно, были какие-то военно-стратегические, хозяйственные, бюрократические или какие еще причины. Может, туркменское руководство оказалось сговорчивее руководства РСФСР, в которую входил Дагестан? Кстати, кто-нибудь помнит, кто тогда руководил Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой? До начала эпохи Ельцина оставалось больше четырех месяцев. Хозяйственные причины тоже вариант – если посмотреть на карту, то Красноводск, хотя и на другом, восточном побережье Каспия, но плыть из Баку ближе. А что лишнее топливо тратить?

Но все, отставить разговорчики, – решение принято, и постояв еще, может, часок, «Эмба» вновь заскользила по волнам. Никуда не торопясь. Время тогда принимало странные свойства, то сжимаясь, то растягиваясь, совсем как жевательная резинка. Поэтому даты я сохранил в памяти точно, а вот насчет часов и минут – это уж субъективно. Засекать время по часам было бесполезно, никакого представления о реальном времени это бы не дало.

Между Баку и Красноводском действует паромная железнодорожно-пассажирская переправа. Расстояние чуть больше 300 километров, примерно 12 часов ходу. За сколько доберемся на «Эмбе», мы не знаем. По логике быстрее.

– Мы еще легко отделались, малой кровью. Ой, что я говорю, совсем без крови, не дай Бог, – тихо говорит мама. Она побродила по отсеку, повидала лежащих на матрасах теток с перевязанными руками и головами, с ссадинами и кровоподтеками на лицах.

Пожилые тетки общаются примерно как на посиделках на Завокзальной на смеси русского и армянского. Если не вслушиваться в слова, не замечать обреченности и усталости в интонациях, можно запросто перепутать нашу эту скорбную «скамейку» с лавкой недалеко от дома бабушки. Вспоминают, обсуждают насущное, и то место, куда их везут. Парандзем почему-то вспоминает о казахском городе Форт-Шевченко, как будто мы туда направляемся. Даром что Шевченко, а она так и говорит Шевченко без всякого форта, находится на том же восточном берегу. А мы, Кавказ, Баку и Махачкала – на за-

падном побережье. Форт на сухом полуострове Мангышлак, в нем томился украинский поэт, отлученный от тучных украинских ландшафтов, и не подозревал о том, что его именем назовут место его мучений.

Русская полная женщина на вид пенсионного возраста рассказывает об оползне. Оказывается, рано утром 15 января, на третий день беспорядков, у них ко всему прочему случился и оползень. Обрушилось здание штаба Каспийской флотилии на Баиловской «Шиске», скалистой гряде, возвышающейся над портом. Оно сползло со склона и разрушило столовую. Под обломками погибли не меньше двух десятков человек. Находятся люди, которые авторитетно заявляют, что это был никакой не оползень, а теракт.

– Я их предупреждала, ребят. Нельзя было в здании оставаться. Я им говорила, что в матери гожусь, послушайте меня. А они не послушали. Не успели, под завалами много ребят осталось... – бубнит тетка, хотя ее особо никто не слушает.

Зачем ее эвакуируют, она же не армянка? Наверное, за длинный язык, она безбожно и возбужденно тараторит. Это скорее всего нервное. А может, русская, но тоже боится оставаться? Полукровка? Она работала вахтершей и уборщицей. Каким образом она могла спасти от оползня «морячков», я не понимаю.

Беженцам не до погибших морячков, все сочувствуют сами себе. Рассказывают, как их охраняли солдаты в кинотеатре «Шафаг», как толпа требовала расправы с армянами, уговаривая их выдать. Военные «порядок не наводили», погромы не пресекали, но сумевших скрыться от погромщиков армян вывезли в порт и поместили в какой-то ангар, заперев железные ворота. Толпа, мол, пришла и туда за армянами, но офицер велел разойтись, а когда словесное предупреждение не подействовало, приказал дать очередь из пулемета под ноги, что сразу же отрезвило «эту еразню».

А я вот стоял, переваливался. Тогда до меня дошло выражение «морская походка». Качка была весьма ощутимая, беженцев начало тошнить. Усатый объяснил, это все оттого, что судно маленькое, маленькое судно больше качает. Впрочем, можно посидеть на сумках, привалиться к какой-нибудь металлической плоскости, на непонятных этих возвышениях некоторые устроились, положили свои матрасы. Считают, комфортнее устроились, чем лежащие и сидящие «на полу».

Я не жаловался, мне даже слегка нравилась вся эта необычность. Первый раз в открытом море как-никак. До этого только на прогулочном катере вдоль бакинской набережной катался. В смешном старом фильме «Пятнадцатилетний капитан» парень в 15 лет уже судно ведет, капитанит, а я что же? Всего лишь в трюме сижу, велик подвиг, думал я тогда. Мне как раз было 15 лет. Меня, правда, всегда раздражал этот звонкоголосый капитанчик, Негоро казался гораздо симпатичнее.

Вместо Южной Америки – Махачкалы, мы идем на другой конец света, в Африку – Красноводск. Ну хорошо, что предупредили, не придется вскидывать руки в отчаянии и орать как негр Геркулес: «Это Африка!» Дальше Махачкала по морю, или нет, она нам психологически ближе, к тому же оттуда до родни и друзей в Краснодарском и Ставропольском крае рукой подать.

Я пытался читать. К сожалению, захватил с собой не Жюль Верна, а «Архипелаг ГУЛАГ» в двух номерах «Нового мира». Эх, тоску это читиво нагоняло смертную, читалось тяжело. Я уже к тому времени прочитал «Крутой маршрут» Гинзбург и воспоминания Льва Разгона, узника лагерей, обличителя сталинизма, а до этого сотрудника НКВД, и много публицистики. Так что вся эта лагерная проза, как ни цинично звучит, уже мало волновала меня своими изощренными ужасами. В лучшем случае превращалась в слишком спокойное, уютно-рутинное чтение, в худшем – просто вгоняло в дремоту.

– Читаешь? Ну читай... Может, про нас когда-нибудь напишешь, – сказала мама и улыбнулась.

А качка между тем усиливалась. Люди, зажимая ладонью рты, бегут к трапу, чтобы выйти на воздух. Нам это не запрещалось, нас никто не запер в «трюме», и на том спасибо. Офелии ужасно хочется плевать, и можно это сделать на воздухе, туалетов в нашем трюме нет. Провожая ее наверх и поддерживаю. Качает весьма и весьма, мне кажется, вообще уже штормит. Палуба скользкая от морской воды и блевотины. Многие не добегают до бортов. Мы в носовой части, корабль подпрыгивает и ловит волну как серфингист. Слегка пугая, что вот-вот нырнет в пучину, в следующее мгновение всплывает как поплавок. На палубе полно беженцев. Все, кто мог, вылезли на свет Божий и натужно блюют, вцепившись в борта. Все борта заляпаны, это видно, если свеситься. Над нами возвышается солидный, спокойный, в меру дородный мужчина в фуражке и бушлате и смотрит в бинокль. Полагаю, это капитан на капитанском мостике и он нас, сухопутных крыс, презирает. За морскую болезнь и вообще за то, что мы такие жалкие и беспомощные. Мне претит находиться в толпе этих беспомощных людей.

Морская болезнь меня совершенно не мучила. По-настоящему не тошнило, только время от времени приторно резало внутри и дыхание проваливалось в живот. Так бывает еще на резких поворотах на машине на большой скорости. Вспомнилось, в «Проклятых королях» Мориса Дрюона, пересекая Ла-Манш,

от качки не страдает Роджер Мортимер, потому что он ревнивец. Может, и я ревнивец, хотя часто меня укачивало в машинах. Но я списал это на запах бензина и выхлопных газов. Настоящая качка только в море, и я ее в высшей степени достойно выдерживаю, хвастал я сам перед собой. А ревновать тогда мне некого и не к кому было, если я и любил, или, как мне казалось, любил, то только в своих мечтах. Девочка об этом не знала, но и другие на нее не покушались, возраст все же юный, а нравы патриархальные.

Чайки совсем низко, кажется, клонут в темечко, а одна вообще села на палубу. Проводил Офелию назад и вернулся на палубу, в «трюме» сидеть неохота. Там все страдали и охали. Качка в таких некомфортных условиях переносится тяжелее, многие ругают себя за то, что отведали жирных котлет. Оно и правильно, пища в таких случаях должна быть легкой.

Ищу гальюн. Беженцы быстро начали называть туалет гальюном. Море шипит и пенится, как шампанское. Экипаж либо очень немногочисленный, либо тактично не высовывается, во всяком случае, в глаза не бросается. Я даже в камбуз мельком заглянул, где в парах, чаде и лязге шкворчали все те же котлеты. А гальюн там, где каюты, сказали мне пассажиры и показали, где каюты. Ого, да в них разместились тоже штатские разных возрастов, есть и молодежь.

Наблевавшись вволю, некоторые пассажиры не спускаются в мрачный трюм, а идут как раз в коридорчик, с несколькими дверками кают. В полуоткрытую дверь одной из них видно, что она тесная, но светлая и уютная. Замечаю, у занимающих каюты преимущественно славянские лица. В коридоре несколько человек. Опрятный вид, спортивные костюмы, тапочки и даже полотенца на шее. Как в поезде. Они улыбаются, переговариваются, в коридорчике слышна музыка, радио. Надо же, думаю мне, и в таком скорбном круизе есть первый класс.

Мне кажется, это были родственники и друзья моряков, сотрудников порта, может, партийных и советских работников некоренной национальности. Их вывозили от греха подальше. Получается наш «прогулочный катер», хотя на вид и маленький и несет его как скорлупку, но все же вместителен. Мама ходила узнавать, есть ли возможность устроить хотя бы наших бабушек в каюту, естественно, мы бы заплатили. Но такой возможности не было, всё было забито. Хитрющие какие выискались, комфорту захотели.

Гальюн очень тесный. В очереди туда пассажиры всех «классов» равны. Передо мной стоит мужик, такой же жирный, как и наш «боцман»-проводник – в порт, даже смахивает на него, только вроде немного моложе. Не понятно, как мужик втиснулся в этот «тесный шкаф». Иду, моя очередь. Ух, и обоссал толстяк всё. Ужас, страшно за ручку взяться, видно, качка виновата, но жутко противно, кажется, он даже на потолок попал своей адской струей и с него капает. И невыносимый запах мочи.

Зато какое наслаждение снова оказаться на палубе. Ветер усиливается, но мне кажется, я даже мысленно не имею права говорить, что штормит. Какой это шторм, это штиль для настоящих моряков. Мне не холодно, я натянул капюшон на вязаную спортивную шапку. Шапок, как любой уважающий себя молодой бакинец, я не носил в обычной жизни. Но здесь ситуация экстремальная. На мне была моря гордость, белая или, скорее, светло-стальная финская куртка-парка, купленная у мичмана дяди Толи, без переплаты, по своей цене 168 рублей. Он меня здорово выручил, у меня не было приличной верхней одежды, а я мечтал о стеганом пальто. Тогда в моде были стеганые болоньевые пальто на «кнопках», довольно длинные, преимущественно стального цвета. А в магазинах дефицит, то нет вообще, то моего размера нет. Моя осенняя, а по меркам Баку зимняя куртка была ничуть не хуже, а даже лучше. Она была чуть длинновата, на вырост, и вполне тянула на полупальто, что меня совсем не огорчало, вид все равно был модный, как мне казалось. Под курткой я носил изрядно надоевшую школьную форму, которая выглядела явно архаично под такой «фирменной шмоткой». А что делать? Особо надеть мне было нечего. Мама давно спорила дурацкую эмблему-нашивку на рукаве, а пиджак был скроен именно как гражданский пиджак, а не курточка с погончиками, которую я носил в младших классах, поэтому выглядел как обрядившийся в синюю пару парнишка из 50-х. Поверх рубашки надел коричневую в желтую полоску безрукавку, связанную бабушкой Эмилией, что придало этому наряду невероятное сходство с костюмом Глеба Жеглова из «Место встречи изменить нельзя». Не хватало только галифе, да сапожки были современные, югославские, на молнии. И штаны я в них не заправлял. Сукно, из которого пошита моя форма, плотное, думаю, морская форма, «парадка», во всяком случае, примерно из такого материала и шилась.

Стою и смотрю то вперед, то сплевываю за борт и смотрю вниз, долетит ли плевок. Хорошо и спокойно вдруг стало. Мысль о кораблекрушении отмечается сразу как нереальная. Люди потихоньку покидают палубу, потому что уже пробирает до костей. Ветер бьет в лицо. Ветра у нас хорошие, богатые. Мне нравится ветер, нравится словосочетание, «обветренное лицо», хотя зимой у меня часто от ветра «тре-

скается» кожа на руках, я не ношу перчаток. А сейчас есть такая возможность задубеть, «просолиться».

Каспий, Каспий, пленник величайших тектонических сдвигов, которых не видел, не застал или не был достоин застать род людской. Ибо такого зрелища не выдержала бы человеческая натура, да и нужно было бы его ускорять, как на пленке. Что такое наша кратковременная жизнь, человеческий век? По геологическим меркам даже не доля секунды, а во много раз меньше. Понятно, почему библейские патриархи жили так долго, иначе они бы ничего не успели.

Море, ставшее Озером, оторванное от братства Океанов. Но благородные привычки моря ты сохранил, Каспий, моя единственная в тот момент радость. Ученые говорят, Каспий и Черное море – братья, дети древнего океана Тетис, только вот Черное море осталось морем, а Каспий замкнула суша.

В детстве мы ходили в так называемую Разинскую пещеру, в нашем поселке Разина. По преданию сам Степан Разин в ней ночевал и сокровища хранил. Это называлось «пойти на Разинскую гору» в отличие от просто пойти «на гору». Естественно, никаких гор на нашем Апшеронском полуострове, этом клюве, который Азербайджан мочит в Каспии, нет. Есть холмы, скалы, всякие возвышенности в придачу со скалами, грязевые сопки. Поросшие кустами, травой, верблюжьей колючкой, просто голые. Встречаются и довольно высокие, как Разинская гора с одноименной пещерой. Это довольно глубокая пещера, о том, что по легенде там бывал Степан Разин, оповещает вполне официальный знак. В «мирное» время учителя водили сюда детей на экскурсии. До 80-х годов, когда коллективизм был в силе, у пещеры «на горе» устраивались маевки. В любое время года, несмотря на то, что родители запрещали, дети ошивались на Разинской «горе». Пацаны уверяли меня, оттуда есть потайной лаз к Черному морю. Представляете? Сквозной туннель через Кавказские горы, который хорошо был известен Разину и, возможно, известен кому-то сейчас. Только от всех скрывают. Пацаны особо не поясняли, искусственный туннель или творение природы, а лишь важно сопели. Но утверждать, что прорыл его Разин, они бы не стали, напротив, намекали, что лаз был вечно с очень древних времен. Я скорее не верил, чем верил. Странно, но дети таким сказочным, легендарным образом, в возрасте в котором даже и географию не проходят, соединили Каспийское и Черное моря.

Стоя на палубе, прильнув к борту, я вглядывался в серое море. Волны были внушительные.

Не мог оторваться, зимний Каспий живописно мрачен. Я раньше не видел толком зимнего моря, или просто внимания не обращал. От нас до пляжей было далеко, а садиться в автобус и с пересадками ехать к морю, никому не приходило в голову. Простые люди весьма рациональны, подростки менее рациональны, но все же. Зачем стоять на ветру, мерзнуть? В Баку моржей не было, я помню рассказ о спецназе, который изъявил желание искупаться в первых числах марта в море 1988 года после сумгаитского погрома.

– Мне рассказывал знакомый, его товарищ шофером был, войска возили. Там в Сумгаите и спецвойска были. Слушай, такие головорезы ара, здоровенные э. Русские все ребята. Знаете, такие двухметровые бугаи, они детдомовские все, засекреченные. Их чуть ли не со школьного возраста отбирают, готовят... Офицер сказал: «Тормозните, у вас тут курорт, море. Мы искупаемся». А ветер такой еще, чуть ли не шторм, холодрыга дикая э... Как они разделись и полезли в это море купаться! Поплавали не спеша, от души, довольные такие!

Разве море, строго выровненное набережными и пирсами, сравнить с открытым морем?

Мне казалось, в волнах плещутся огромные рыбы, какие-то невероятные осетры. Вылетают и, описав кульбиты в воздухе, снова ныряют, прямо как летучие рыбы. А вот пенные фонтаны посolidнее, может, это неведомые морские звери. Известно, в Каспии живут каспийские тюлени. Может, какие еще звери, очаровательные мини-левиафаны, например. Серое облачное небо, чайки, как будто народившиеся из облаков, думали же в Средневековье, что крысы и мыши рождаются из грязного белья, а жабы из тины.

Ветер радостно свистел, выл, гудел всеми возможными веселыми флейтами. Зародившись где-то наверху, под облаками, он бурлил, взрывал, вспенивал, плескал воду, связывая небесную и морскую стихии.

Продолжение следует.

¹ Закупать еду на рынке (азерб. жаргон)

² Здесь поход в ресторан, угощение, магарыч (азерб.).

³ «Руками не разговаривай» – расхожее азербайджанское выражение, применяется, когда ходят осадить угрожающе жестикулирующего типа.

⁴ Марш, марш вперед, азербайджанский солдат.

⁵ «Серый волк» или «Серые волки» – турецкая националистическая организация. В самой Турции организация преследовалась, ее члены обвинялись в терроризме.

⁶ Что-то типа долмы (разг. азерб.) Долма – блюдо из фарша, завернутого в виноградные, капустные листья, или фаршированные овощи.

⁷ Ныне Туркменбаши.

Владислав ШАПОВАЛОВ



Родился 30 ноября 1925 года в селе Васильковка (позже ПГТ) Васильковского района Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровская область) в семье сельских медиков. В 1943 году ушёл на фронт. Окончил Днепропетровский государственный университет имени 300-летия воссоединения Украины с Россией (1952 г., филологический факультет). Работал учителем, завучем, директором школы. Автор более тридцати книг прозы. Лауреат премии Госкомиздата РСФСР и Союза писателей РСФСР (1982 г.), а также Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле». Лауреат журнальных премий («Север», «Пионер», «Подъём», «Наш современник»). Академик. Действительный член Академии русской словесности и изящных искусств им. Г. Р. Державина. Внесен в энциклопедию «Лучшие люди России» (2006 г.). С 1997 года главный редактор Белгородского общественно-политического, литературно-художественного и научного журнала «Звонница».

Руки матери

Рассказ

В посёлке Троицкий, на Белгородчине, установлен памятник невинно-погибшим мирным жителям, расстрелянным тут же, неподалёку, в хуторе Калиновка, 4 июля 1942 года. В монолите бетона старик, скошенный пулей. Упал на одну руку, а другую поднял, прикрыв мать с девочкой. И памятная доска, на которой имена...

Погибло тринадцать человек. Среди них семеро детей:

Черных Егор – 15-ти лет,
Черных Миша – 15-ти лет,
Травкин Ваня – 12-ти лет,
Яковлев Лёня – 11-ти лет,
Травкин Боря – 10-ти лет,
Травкина Рая – 4-х лет,
Травкин Женя – 1 год от роду.

Позже я узнал, что мать, потерявшая четырёх детей и послужившая прототипом для скульптуры, жива и ей воздвигнут монумент при жизни.

И вот я стучусь в незнакомую дверь, а сердце бьётся учащённо: здорова ли, жива?..

Дверь отворилась. Передо мною предстала рослая, знакомая мне по монументу, женщина, только сорока годами старше. Я узнал её. Та же стройность в фигуре, мужественные черты лица. Время не согнуло её. Высоко, как на постаменте, держа голову, она пригласила меня в комнату.

Я ничего не изменил в её рассказе. Да и какой смысл! Никакое «художественное» воображение не способно представить себе то, что даёт жизнь. На что она способна...

Вот её рассказ – Натальи Константиновны Травкиной.

1

Наталья проснулась, когда в серо-пепельном оконце проступила двумя чёрными соломинами крестовина рамы.

Мерно, чуть слышно, тикали на кухне ходики, глубоко, во сне, дышал Иосиф. Посапывал в зыбке Женя.

Бережно, чтоб не разбудить мужа, Наталья спустила на глиняный пол босые ноги. Подобрала захватом ладони рассыпавшиеся на плечи волосы, склонилась над зыбкой.

Женя лежал на боку, подложив под щеку ручку, тёмное пятно головы скатилось ниже подушки. Переложила мальчика, постояла, согнувшись над зыбкой, и, взяв со стула кофту с юбкой, вкрадчиво пошла

на кухню. Все трое старших спали на печи. К утру полосатая ряднина сбивалась под ноги, и Наталья, став на лавку, укрыла самую меньшую – Раюшу. Девочка, прожевав губами, задержала дыхание и тут же снова примерла детским непробудным сном.

Подошла к столу – увидела на скамейке торбу, завязанную шворкой. Торбу – жалкий дорожный скарб – Наталья собрала ещё с вечера, и эта, прежде неприметная, ничего не значащая в доме вещь остро кольнула сердце...

Щёлкнула на часах, скользнув по колёсику, цепка, зашаталась иссиня-зеленая шишка стеклянного грузика, и Наталья очнулась. Тронула рукой захватанную завёртку на кухонном столе, открыла диктовую дверцу.

Накануне она готовила хлебы, в хате стоял ещё тёплый приятный дух выпечки. Достала начатую буханку с рельефными отпечатками капустного листа на поду, с глубоко запёкшимися до черноты углинами древесной золы, отрезала небольшой ломоть. Покропила краюху солью – и, что бы ни делала, думала об одном и том же...

Выходя в сенцы, Наталья оглянулась назад и в узкой половинке двери увидела угол самодельной люльки с деревянной решеткой, железную кровать с ещё девичьими пуховиками и строгий во сне мужнин профиль.

Иосиф вставал позже, и Наталья дарила ему несколько самых дорогих поутру минут сна. Постояла, и всё было бы, как прежде, как всегда, если б не легло тяжестью на грудь что-то ещё непонятное и не до конца осознанное...

Заметно светлело. Наталья ополоснула в сенцах лицо и руки, подвязала косынкой волосы и, стараясь не стукнуть клямкой, вышла с подойником и коркой хлеба во двор.

В низинах ещё стояли туманы; кое-где, на возвышениях, просматривались травяные плешины взлобков. Птичьим гомоном отзывались кустистые перелески. Воздух был настолько девственно чист и свеж, что чувствуешь, как его вдыхаешь.

Хутор кучно, из пяти хаток, гуртился к густому чернолесью; прямо от окон, через луговину с просыхающим на лето ручьём, поднимались до самой хребтины тронутые уже лёгкой желтизной хлеба. Сзади, откуда оранжево загоралось небо, стоял непроглядной стеною тёмный дубняк, а с противоположной стороны горизонт был иссиня-чёрным. Наталья оглянула распаханную ширь, и её охватил ужас этой открытости и незащищённости...

Зорька стояла в своём закуте. Повернув голову, смотрела большими телячьими глазами, опаживая их длинными ресницами. И как только хозяйка появилась в проёме, встретила её негромким, на полдыха, мычанием. Наталья сунула ей окраек буханки, огладила белые пятнышки шерсти между рогами. Так она голубила свою ведерницу перед дойкой, Зорька отпускала молока больше на ласку.

Иосиф проснулся, когда Наталья отзвенела белыми тугими струнами молока в подойник и вернулась в сенцы. Сняла с бечёвки холщовую редину, покрыла сверху пустой глечик. Продавила пальцами выемку в холстинке, стала цедить молоко. Глядь, а он стоит уже готовый, с торбой в руке.

– Ося, как же я с четырьмя?..

Еле выговорила с болью в голосе.

– Дык, он же где? – нарочито молодцевато произнёс Иосиф, и в этой нарочитости Наталья уловила всю горечь того, что случилось.

А он ещё смелее добавил:

– Дык, мы его остановим.

2

А через год фронт подошёл к хутору Калиновка.

Наталья, вспомнив последние слова мужа, криво усмехнулась, но тут же пристрожила себя.

От Иосифа было всего два письма. В первом он писал, что ранен в бою и находится в госпитале на лечении, – ну и, слава богу, хоть жив, а что, может, калека, то не такая уж и беда при всеобщем горе, если вернётся, век доживём и так. Во втором коротко писал, что из команды выздоравливающих его направляют в маршевую роту. В воинском деле она не очень-то разбиралась, но чутким сердцем уловила в скупых строчках и тревогу, и беду. Коль не домой, то уже худо. Значит, война не замиряется и невесть сколь протянется.

В нескольких верстах от Калиновки, если взять напрямки через угор, в селе Ястребовка, жила Натальяина мать. Ястребовку немцы заняли раньше, и мать, зная, что на хуторе осталась дочка с четырьмя

детьми, пробралась ночью через линию фронта. Вполголоса, чтоб не поднять переполох, позвала в окно:

– Наташка...

И голос родной, а вздрогнула. Подхватила живо по-тёмному, отодвинула на ощупь засов.

В мирные дни на хуторе никто не имел моды брать наружные двери на запоры. Да их, замков, считай, и не было. Но с приходом лихолетья многое изменилось. Наталья отворила дверь и не кинулась к матери, а сперва оглядела, нет ли кого поблизости за её спиной. Только затем, не удержав слёзы, в тихом беззвучном рыдании обняла мать, уронив голову на её плечо.

– Ой, какая там страсть, – простонала мать шёпотом, – что у нас в Ястребовке робилось. Людей сколько побило...

С вечера за горизонтом, где находилась Ястребовка, что-то сильно гремело, а когда начало смеркаться, небо взялось багровым кровоподтёком. К ночи зарево немного присело, но всё равно видно было: там что-то горит.

– А дитёв надо сховать, – всё так же таясь, вполголоса, произнесла мать.

Она ещё не отдышалась, должно быть, бежала или шла поспехом, её беспокойство передалось Наталье.

Вдвоём они внесли в погреб по оберему соломы, устлали земляной пол. Сверху покрыли солому рядом. Перевели сонных Ванюшку с Борей, перенесли на руках четырёхлетнюю Раюшу. Мальчики, волоча ноги со сна, цеплялись босыми ногами за порог. Уложили всех рядом.

Не спали. Сидели впотьмах, вслушиваясь в неясные шорохи, что долетали через открытую дверцу, молчали. Наталья держала на руках Женю, думала, как же осталась там, наверху, Зорька и подсвинок с курьми, которых с таким трудом она удержала до сих пор бог весть каким прокормом.

Женя спал беспокойно, ворочался и что-то невнятно бормотал, суча голыми ножками. Наталья то и дело перекладывала его с руки на руку.

Вскоре они надышали, в погребе стало жарко.

– А чаго мы мучаимси? – сказала мать. – Пойдём в хату, а как что почувется, сразу перебежим. Погреб-то рядом.

На дворе было тихо, мирно горели в вышине звёзды. Означало себя кромкой светлеющего небокрая хлебное поле.

Они вернулись в хату. Наталья положила Женю в колясочку, что ещё для первенца смастерил муж – так та зыбка и перекачала всех четверых по очереди, – сама примгнула на кушетке, уступив кровать матери. Спали там или не спали, только рано утром обеих всколыхнул неясный шум, что доносился с улицы. Мать подошла к окну, отодвинула занавеску.

– Немцы! – сразу осел её голос.

На краю хутора послышалась автоматная трескотня.

Наталья схватила Женю из колясочки, выбежала в сенцы, затем во двор. И только хотела уже спуститься в погреб, как увидела бегущего соседа.

Максим Сотников работал в совхозе пасечником, дома держал несколько дуплянок, прикрытых сверху кулями соломы. Бывало, срежет кус янтарно солнечных сотов, несёт через межу в деревянной миске. Хлопцы её, Ванюшка с Борькой, ходили потом с надутыми лоснящимися пузами до самого вечера и ко всему клеились.

Он бежал за тыном вдоль улицы в одной натальной рубаше, со взбитым впереди чубом, растерянными глазами. Крикнул что-то и, взмахнув рукою, точно загораживая её с ребёнком, упал подкошенный.

То, что он крикнул, Наталья не разобрала. Но поняла, обращался дед Максим к ней, а прикрывающий взмах руки указывал: куда ты суёшься, да ещё с дитём! Наталья прижала ребёнка к себе, закрыла рукою головку.

В это время взойкнула сзади мать. Наталья оглянулась, а мать наложила руки на голову и, как-то неловко оседая на ноги, не своим, чужим, голосом произнесла:

– Вот мы и дожили...

В погребе проснулись от выстрелов дети. Позвали мать, но возле них её не оказалось. Ванюшка метнулся по ступенькам вверх, за ним – Боря. Раюша всхлипнула, но тут же подхватила тоже следом... Наталья хотела на них прикрикнуть и загнать назад, да тут её будто кто хлестнул железной плетью по рукам. Женя вздрогнул весь у неё на руках, будто его на мгновение свело судорогой, и смяк...

Не помня себя, Наталья спустилась в погреб, положила безжизненное тельце на солому и, ещё не осознавая, что положила мёртвого, вылезла сама вся окровавленная наверх и потеряла сознание...

3

Двое суток Наталья пролежала в беспамятстве вместе с мёртвыми детьми и матерью. Всходило и, поднявшись до зенита, накалив землю, заходило солнце. Слетали по утрам с насеста, подавались ближе к лесу на подножный прокорм куры. Зазывно, поджигая запалые бока, мычала на привязи голодная Зорька. Повернув голову, выглядывала в дверь коровника. Верещал в закуте поросёнок. Да никто их не слышал...

На третью ночь выходили из глубоких немецких тылов наши окруженцы, человек пять или шесть. Изголодав, оборванные, брели потай, пробираясь окраинами подальше от дорог. Наткнулись на Троицкое – отступили назад. Село большое, шлях уторован. Тут, как пить дать, полно их. Смотрят, а в стороне, под лесом, несколько хаток отдельно. Не иначе – хутор какой-то высельный. Притаился в затишке глухома-ни. И там он, вражина, ясное дело, заробеев остановиться.

Было уже глубоко за полночь. Месяц, высветив белёсые стены хуторских мазанок, завяз в тучах, всё вокруг примёрло непроглядной тьмой. Лишь со стороны Троицкого доносились какие-то непонятные звуки и время от времени вспыхивали одинокие, ползли вверх по небу красные светлячки трассирующих пуль – шипяще-стелющимся эхом запоздало отзывалась на выстрелы дубрава.

От истощения уже не было сил. Рискнули попытать счастья. Первым, шагов на сорок впереди, шёл их вожак, сержант, не споровший на воротнике петлиц. За ним, немного рассредоточившись, прокрадывались остальные. Сержант осторожно, чтоб не шумнуть, открыл плетёные из лозы воротца: двор запустелый, хатушка без признаков жилья. Душок трупно-фронтальной стелется низом. Ступил дальше – остановился, застолбенев. Так и стоял в нерешительности.

– Что там? – не терпелось задним.

Сержант оглянулся, сложив ладони рупором, произнёс шепотом:

– Мёртвые тут...

Когда подошли все, кто-то ахнул:

– Братки, дак это ж дети!..

Застонала Наталья. Сквозь забытие она услышала говорок и пришла в себя. Разодрала залипшие сухой кровью веки, еле различила на фоне тёмного неба несколько теней.

Правая сторона головы занемела, слышала Наталья плохо и почти ничего ясно не видела, – подтекающая из-под волос кровь заливала глазницы.

Наталья подала голос, и бойцы, казалось бы, не из робкого десятка, струхнули. Но тут же сообразили, что ничего опасного вокруг нет, что это всего лишь бабий стон, подошли ближе. Сержант нагнулся, и Наталья признала ворот гимнастёрки.

Измощённые лица, заросшие щетиной по самые глаза, залоснившиеся от пота, приставшие к телу мокрые гимнастёрки, да и весь вид её спасителей сказал о многом. И она, то ли оттого, что зашевелилась и потревожила раны, то ли от сознания их общей безвыходности, снова провалилась в беспамятство.

Одного из своей небольшой команды сержант послал в хату. Боец обшарил сенцы, перебрал горшки на кухне и, ещё не понимая, что Наталья в обмороке, спросил:

– Мамаша, там скисло молоко, можно его взять?

Наталья снова очнулась. С трудом подняв израненную руку, молча указала на погреб. Двое спустились вниз по ступенькам и вместо продуктов, как ожидали оставшиеся наверху, вынесли убитого младенца...

– Там он... там... – стонала она, не видя, что вынесли Женю.

Всех пятерых сложили рядышком у погреба, прикрыли полосатым рядом.

– Покличьте соседей... – обеспокоилась Наталья, заметив, что солдаты собираются уходить.

Кто-то из них смотался в одну сторону, в другую.

– Везде побитые, – вернулся ни с чем.

– А её куда? – обратился один из солдат к своему командиру.

Сержант молчал. Он, видимо, не знал, как поступить с женщиной, с живой, но не способной двигаться. Она связала бы им руки. Но и оставить её одну не гоже.

– Вы меня не бросайте... – обеспокоилась она догадкой и попыталась подвестись, но от резкой глубинной, простреливающей всё тело боли у неё помутилось в голове.

Когда она пришла в себя, то увидела, что солдаты ладят две жердины, увязывая их путами на расстоянии друг от друга. Кто-то вынес из хаты шерстяное одеяло, под которым она проспала с мужем всю свою супружескую жизнь. Стало ясно, они готовят что-то вроде носилок. Наталья, с трудом преодолевая

нестерпимую боль, дотянулась побитою рукой к Жене, тронула холодный, как железо, лобик. Дети лежали рядышком, и каждого в темноте, с закрытыми, стянутыми на ресницах кровавой коркой глазами, она опознала и каждому роняла на грудь своё бесслёзное лицо.

4

Ночь иссякла на корню. Серой кромкой у небокрая занимался рассвет. Солдаты поспешали. Они несли раненую Наталью огородами в сторону Троицкого, попеременно перехватывая поручни носилок, часто сменяя друг друга из-за одолевающей слабости. Один шёл, для разведки, впереди, двое, то и дело оглядываясь, прикрывали носилки сзади. Шелестела под ногами картофельная ботва. Встретился на пути ровик, носилки шатнулись, и Наталья простонала. Сержант, остановившись, прислушался.

Не подходя к Троицкому шагов на двести, сделали передых. Носилки опустили под ракитой, одиноко стоящей на краю поля, возле оврага. И дальше не пошли. Начали шептаться. Наталья со страхом поняла, солдаты боятся заходить в селение и, с тревогой подумав, что её кинут здесь, обеспокоенно шевельнулась.

По пути у неё растряслись раны, начала подтекать свежая кровь. Наталья чувствовала, что слабеет.

– Лежи-лежи, бабка, – укоротил её сержант.

Сам же, приказав всем отходить к леску, что за хутором, и собираться у его южного окрайка, где начинается дубовая роща, спустился вниз и оврагом пробрался к селу. Залёг под кустом сирени, высмотрел улицу, надворные постройки захудалой хатёнки, что стояла в ряду крайней. Наконец, убедившись, что ничего опасного нет, подошёл ближе и легонько стукнул в оконце.

Это оказалась хатёнка Марии Фоминичны Черных, солдатской вдовы и дальней родственницы Натальи Травкиной. Свой век Мария Фоминична коротала с дочерью и старым дедом Демьяном, больным на ноги. Натянув впотьмах кофту, запнувшись платком, она боязно отворила дверь, вышла босая на порог и, не приглашая ночного пришельника в дом, долго не могла взять в толк, чего от неё хотят.

– Мы уходим. Она лежит под ракитой, – поспешно произнёс сержант и точно растаял перед нею впотьмах.

Мария, растерявшись, всё так же стояла на пороге.

– Чё тама? – подал с печи голос через настежь оставленную дверь дед Демьян.

Вернувшись в хату, Мария увидела, что Демьян натягивает на тощие бёдра портки, ищет на колу, забитом в простенок, свою замызганную кепку.

– Горе...

К горю можно было уже и попривыкнуть. Оно ведь тоже величина относительная, и то, что в иные времена кажется бедственным, ныне проходит за пустяк.

– Чё щё?! – озлился старый, недовольный тем, что Мария тянет с ответом.

Ничего непонятно: их кто-то всколыхнул, постучав в окошко, а в хату не зашёл. Так может лишь сосед. И что там могло стрястись?..

Как могла, Мария растолковала то, чего ещё и сама как следует не знала.

Без лишних слов Демьян сходил в летний хлевок, наскоро выкатил оттуда ручную, наскоро сколоченную из старых досок тележку. На той колымаге, хромающей на одну сторону из-за ковыляющего колеса, он развозил по огороду навоз. Кинул на дно соломки, покатыл вдоль овражка. Мария, не отставая, поспешала следом за пустой тархтелкой, попискивающей ступицей при каждом обороте перекошенного колеса, тревожно оглядывалась по сторонам и отчего-то пригибалась.

У ракиты, где обласен каждый бугорок, действительно лежало что-то длинное и плоское, будто вытянутое на доске, не похожее на человека. Мария подошла ближе и по одежде признала свою троюродную, по бабушке, сестру...

5

Наталью, обмыв засохшую кровь на теле, определили в запечье, подальше от дурного глаза. Дед Демьян забил два гвоздя на противоположных стенах, натянул между ними шворку. Мария сняла в горнице занавеску, поцепила на шворку. Строго-настрого приказала своей Алёнке никому не рассказывать, что у них тётя. А сама рано утром подалась в соседнюю Ястребовку, где жила акушерка медпункта Валентина Ивановна Померанцева.

На следующую ночь Валентина Ивановна пробились через патрульные заставы в крайнюю хату на улице посёлка Троицкого. Свой белый халат она, чтоб не было лишних улик, не стала брать. Захватила

с собой лишь пузырёк очищенного самогона вместо спирта и небольшой огарок свечки. Мария к тому времени уже подрала на ленты простыню, выварила её в кипятке и успела просушить. Завесила окно одеялом, зажгла куцый огарок.

Вдвоём они перенесли страдалицу на кушетку, приладили, чтоб не падала от руки тень, светильню. Мария прикрыла Наталье ноги. Затем Валентина Ивановна взяла обмылок, долго цокала соском ручной мойки, вытерла руки и тщательно протёрла пальцы самогоном. Только после этого подошла к раненой. Мария, также вымыв руки, подсобляла ей.

Стояла июльская жара. Мухи забивали окна. Заскорузлые раны покрылись в течение трёх дней гнойными окалинами. Кое-где, на трещинах, выступала кровь. Валентина Ивановна выковыряла из ран червей, измарианных сукровицей, обработала как следует все поранки самогоном, наложила повязки. Наталья ни разу не дала себе вскрикнуть. Сцепила зубы, сжала до побеления веки. Так и лежала, сковав тело, точно мёртвая.

У Померанцевой, как говорили в округе, была «лёгкая рука», на свет она принимала младенцев нетрудно и удачно. Принимала она роды на дому каждый раз и у Травкиной – искусно вязала пупки и, пришлёрпнув по жопке, садила кроху на ладонь, высоко поднимала над собой, придерживая другой рукой под затылок головку. Мир звонко оглашался пробудным криком. Весь век она принимала на руки жизнь, теперь они, святые руки, встретили смерть.

В следующий раз Валентина Ивановна пришла дня через три. Так же ночью легонько царапнула коготком шибку, не задерживаясь, сменила повязки. Она раздобыла где-то немного мази Вишневого, ещё четыре шайбочки стрептоцида, и теперь была довольна, что врачует по всем правилам лечебного дела. Управилась живо, ушла, кроясь оврагом, чтоб её не увидели.

Так она время от времени наведывалась в посёлок, где никто не знал про тайну крайней хатёнки Черных, заботливо пеленала Натальины раны, и они, отзывчивые на доброе бескорыстное сердце, заживали споро и без нагноений.

Наталья, скрытая от людей, отделенная ситцевой занавеской от всего мира в своём полутёмном запечье, изученном до каждой царапинки на стене, лежала беззвучно. Услуги стесняли её, и она, не требуя ухода, стараясь быть в доме незаметной, чтоб не беспокоить кого своим обременительным присутствием. С другой стороны, она тоже чувствовала щадящее отношение к себе и молча была благодарна. О детях и матери ей старались не напоминать, но видно было, она постоянно думает о них, часами глядя в одну точку.

Поднялась Наталья где-то через месяц, но руками ничего ещё не могла делать. Голова сильно болела. Пулевое ранение, задев сбоку затылка кость, видимо, повредило какие-то корешки. Наталья стала замечать, что гложет на правое ухо. Да в том никому не хотела признаться.

– Ну я пойду, – закинула однажды за столом, испытывая безмерную благодарность и вместе с тем стеснённую вину своим горем.

Наталья вечеряла вместе со всеми за столом, и у неё начала сходить с лица затворническая желтизна.

– Куда?... – с придыханием еле выговорила Мария.

В хуторе никого из живых не осталось, имущество и всякую живность уже давно растаскали. Мария по указке Натальи – сходи, что ж за зря добру пропадать, – принесла щепоть соли, два чёрных казана, полкуля ячневой крупки, чудом сохранившуюся на миснике. Жить в хуторе одной на пять пустых хат Марии казалось жутковато.

– По свету, – отказала Наталья.

6

Так она скиталась по свету, живя подпольно на одном месте по недели-две, то у родственников, то у знакомых. Осенью она тайно пробралась в хутор.

Хутор к тому времени, без единой живой души, начал захламляться. Глиняные мазанки, в дождях и непогоде, облупились и стали рябыми, точно в коросте. Кое-где чернели выбитыми шибками провалы в окнах. Наталья увидела своё подворье – сердце остановилось, и она испытала то чувство, что уже раз перенесла. Упала на землю, политую кровью детей, еле поднялась, задубевшая...

Но собрала силы, выкопала на огороде картошку и ведро лука, собрала початки кукурузы. И, как немец начал отступать, припряталась на хуторе, чтобы пересидеть, пока перейдёт фронт.

Её, одичавшую, разыскали под вечер, когда солнце, уложив по мягкому февральскому снегу длинные фиолетовые тени, начало садиться за угор. Молодой лейтенант в погонах, чего она сразу не могла

понять, чтобы это значило, и старшина в смушковой шапке долго от неё чего-то добивались, наконец, столковавшись, пообещали зайти утром. Их привела Мария и в разговор не мешалась, но когда военные ушли, посоветовала:

– А чего терпеть, скажи им всё...

Наталья смотрела недвижно в окно и, казалось, не видела его.

– Пушай все люди знают...

Сидели потемки, огня ещё нельзя было зажигать. В поддувале просыпались сквозь колосники раскалённые жарыны древесных огарков, красно высвечивая стены, и Мария завесила от греха окно.

– Здесь ночевать будешь али к нам пойдёшь?

Наталья покачала головой.

Когда Мария ушла и шаги её примёрли где-то за окном, Наталья поднялась. Разыскала старый жмуричек, достала совком из поддувала жарину. Прикурила фитилёк, поправила зёрнышко огонька. Огораживая пламя ладонью, подошла со светом к тумбочке, взяла оттуда огрызок ученического карандаша и тетрадный клочок бумаги. И как села за стол с карандашом в руке, не удержалась...

Тем карандашом писали ещё дети – Ванюшка с Борей. Те держали карандаш, как учили их в школе. А Раюша брала карандаш захватом в кулачок, чиркая бумагу вдоль и поперёк. В последнем письме Иосиф просил, чтобы ему прислали обведенную ручку Жени. Наталья приложила крохотную растопырку на свободное место внизу письма, обвела каждый пальчик. Затем передала огрызок Жене, и он наставил под пятернёй целую, известную только его возрасту, грамоту буквенных вензелей...

Не слова, слёзы пролила на тот клочок тетрадной бумаги Наталья, просидев до ночи, пока не сник, согнувшись на дно блюдечка старичком, выпив последние капли жиринок, фитилёк.

Утром, как обещали, явился лейтенант со старшиною. И ещё третий с ними, капитан в новой военной фуражке с блестящим козырьком. Брови чёрные, нос крючком. И глаза водянистые на выкате.

– Ну, готово? – нетерпеливо спросил.

И как узнал, что Травкина ничего не написала, передёрнулся как-то весь непонятно.

– Вот так всегда, я так и знал! – грубо упрекнул тех двоих, что вытянулись перед ним, не смея молвить слова.

Наталье стало жаль лейтенанта и старшину. Как она поняла, они допустили оплошину и теперь стояли виноватыми.

– Ну хорошо, – произнёс, чуть картавя, капитан, – я тут кое-что набросал.

Вынул из бокового зашинельного кармана вчетверо сложенный лист бумаги, передал Наталье.

– Читать, мамаша, умеешь?

Слово «мамаша» ёжисто царапнуло слух, к ней ещё никто так не обращался.

Затем ей велели одеться. Наталья накинула на плечи плюшку – жакетку из чёрного плюша, повязалась платком. И, выходя из хаты, перекрестилась.

Трое вооружённых вели её хутором в сторону Троицкого. Лопотали на ходу по халявкам сапог широкие полы шинелей; путалась в длинной юбке, поспешая, Наталья.

– У вас было четверо детей? – уточнял некоторые детали капитан.

Через время опять:

– Совхоз назывался «Казацкая степь»?

И снова:

– А муж не в плену?

Её никогда не допрашивали, и она испытывала какое-то неприятное чувство, всё больше проникаясь к этому горбоносому человеку каким-то ещё мало осознанным недоверием. Особенно насторожил её последний вопрос. Были, конечно, разные думки за полтора года такой бойни, поди, много чего перетрёшь в голове, но она и мысли не допускала, чтоб это с Иосифом случилось что-то негодное.

– Какие от него вести?

«Какие вести... – усмехнулась себе, – знала бы, где он, ластовкой полетела...»

Ещё издали, подходя к Троицкому, Наталья заметила на сельсоветовской хате красный флаг, а на площади какие-то серые загоры. И когда приблизилась, то себе подивилась... не загоры то, не ча-стокол, а солдатики, выстроенные на снегу в длинные ряды перед потрёпанным грузовичком с опущенными на все три стороны бортами. Тут же, возле резинового колеса, стояла скамейка в виде приступки. С машины ей подали руку и встали на помост.

Площадь сразу осела, выделив хаты по самые завалины. Кое-где, меж дворов, чернели провалами

свежие гари, отчего улица выглядела по-старушечьи щербатой. Солдатики с ружьями и развёрнутыми знамёнами стояли двумя кутами – на левое крыло и правое. Сбок их сбились чёрной изреженной кучкой миряне. Кое-кого из сельчан Наталья узнала и теперь терялась, принято ли здороваться отсюда, с трибуны. Она поклонилась всем разом.

– Митинг, посвящённый освобождению Троицкого нашими доблестными советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков, объявляю открытым! – звонко прокричал немолодой мужичок в латаных сапогах и московке из перекрашенной мадьярской шинели.

Это был известный на всю округу довоенный председатель сельского совета по имени-отчеству Иван Васильевич, покалеченный ещё в ту, первую империалистическую, войну. Когда Наталья регистрировала детей, Иван Васильевич каждый раз, вручая метрики, тепло поздравлял и крепко, по-мужски, жал ей руку. Наталья не видела его с тех пор, как вступили немцы, и теперь отметила, что он крепко сдал по сравнению с тем, каким был в прежние годы. Да и все, кого она встречала, мало были похожи на себя, война формирует людей по своему облику и подобию.

Подошла очередь, и её подтолкнули вперёд на свободное место. Наталья очутилась посреди кузова. Сотни глаз смотрели на неё в упор, и она, никогда не испытывая на себе давление взглядами такого количества людей, растерялась и невольно отступила назад. Но капитан вытолкнул её на прежнее место.

Она забыла, что в плюшке лежит записка, а все слова, которые знала, которые заготовила, растеряла. Не соберет к месту. Ком сдавил горло.

– Бабка, начинай, начинай! Чего молчишь! – понукал капитан шепотом.

«Какая я тебе бабка, – мысленно обиделась Наталья, – меня в тридцать лет война такую согнула...»

Однако внимание, которое было сосредоточено на ней гуртом людей, заставило одуматься, Наталья достала из плюшки сложенную вчетверо бумагу, развернула её и дрогнувшим голосом прочла:

– «Немцы – звери, – запнулась, еле выговорила следующие слова: смерть им, проклятым врагам!»

Это были не её слова, и она не смогла читать дальше. В глазах у неё помутилось, и она качнулась. Её поддержали сзади, а капитан выхватил листок бумажки из её руки и вышел вперёд, заступив Наталью спиной.

– Русские люди! Фронтовики! Слушайте голос русской матери! – произнёс он так громко, чтобы его услышали в последних рядах. – Восемь месяцев назад я, как и все советские люди, жила радостно и счастливо. Росли мои дети, старшие уже ходили в школу. Звонкие детские голоса неслись из каждой квартиры. Каждый, кто любит жизнь, кому дороги семья и дети, знает, какое это счастье. Мы тогда проживали в Калиновском отделении совхоза «Казацкая степь».

При чтении капитан делал паузы, и становилось так тихо, что было слышно, как сзади, на фронтоне сельсоветовского крыльца лопотал на ветру красный флаг.

– Когда мой муж Иосиф Кузьмич Травкин ушёл на фронт, я осталась с четырьмя детьми в возрасте от одного до двенадцати лет. Четвёртого июля тысяча девятьсот сорок второго года в четыре часа утра в Калиновку ворвались фашисты. Ничего не разбирая, они открыли автоматную очередь. Я упала, потеряв сознание, а когда очнулась, то увидела, что все мои дети убиты, а в моём теле двенадцать огнестрельных ран.

Читал капитан выразительно, хотя на морозе картавил сильнее. Голос его, густой, басистый, походил на тот, что по радио объявлял фронтовые сводки. Мороз по коже дерёт.

– Это сделали немцы! Таковы они все! О, звери! О, бесчеловечные враги! Слышал ли ты предсмертный крик наших крошек, мой любимый муж?! Так отомсти же за них, за невинную кровь! Истребляй фашистского гада! Ведь он ещё топчет нашу родную землю, он ещё убивает таких же, как наши, детей Украины и Белоруссии!..

Колонны, казалось, сомкнулись плотнее – нигде блестящее остриё штыка на винтовках не шелохнётся. Чёрное вороньё, грая над стрехами, тьмой пронеслось. Белый пушок инея кое-где на деревьях мучнисто осыпался.

– Товарищи! Братья! Кровь невинных детей, пепел сожжённых хижин стучат в наши сердца. Они зовут нас перебить всех проклятых немцев, истребить их гадючье племя. Только тогда мы сможем вздохнуть свободно. Помните об этом всегда. Помните и мстите! Пусть боец не ложится спать, не кладёт винтовку, если он в день не убил хоть одного немца! Поклянёмся же, что не устанем мстить врагу до полного его истребления! Бойцы! Вы слышите предсмертные стоны детей?! Смелее же идите вперёд, на Запад! Смерть детоубийцам! Убей немца! Убей! Убей!! Убей!!!

Когда закончились выступления, кто-то подал команду. Солдатики развернулись и длинной колон-

ной, поделенной на части, со знаменем впереди, прошли маршем перед автотрибуной на Запад, как и призывал капитан. Лица их были не столько суровыми, сколько мрачными, и Наталья подумала, что они идут в смерть и что, может, не сегодня-завтра кого-то из них уже не станет...

7

Жизнь начинала как бы сызнова. Разыскала уцелевшую миску, выровняла погнутую алюминиевую ложку. Приняла от Марии казанок.

Когда-то старший Ванюша сажал меньших Борю и Раю рядышком и при тусклом помаргивании жмурика читал из вечера в вечер книжку про какого-то невольного отшельника. Этот страдалец после кораблекрушения попал на необитаемый остров один. Пораясь у печи с рогачами, постоянно озабоченная своими хлопотами по хозяйству, Наталья урывками, одним ухом, прислушивалась к монотонному бубнению за столом.

«Вот какая совсем иная жизнь, не похожая на людскую...» – думала себе.

Теперь её жизнь чем-то походила на ту, что в книжке Ванюшки, а хутор в самом деле напоминал необитаемый остров. Тяжелее всего было перенести эту глушь и безлюдье.

Вестей от Иосифа никаких не было, хотя Наталья на всякий случай по несколько раз на день подходила к портфельчику. Тот портфельчик Ваня, когда прервалась учёба в школе, повесил на грушу возле ворот вместо почтового ящика, и туда успела ещё залететь последняя весточка из госпиталя. Надежд было мало, однако Наталья навевалась к ободранному портфельчику на суку, закладывала руку в матерчатое нутро, хотя знала, что почту за ненадобностью никто в хутор не носит – её просто тянуло поддержать там руку.

И всё же Наталья не могла снести тяжкого одиночества, особенно после того, как побывала на митинге. Перед сумерками её, одну-единственную на все пять хат в запустелом и уже одичавшем хуторе, охватывал какой-то панический страх, и она боялась подходить к кровати, зная, что не заснёт. Одну ночь продумала, другую, наконец, решилась: в ноги упаду, а буду просить, неужто сердце камень, не растопится?

Что могли её, материнские руки, кроме как хлеб растить, детей пестовать, а теперь, побитые, и того меньше. Но они, руки матери, сгодились.

В ту пору готовилось самое грандиозное столкновение двух сталей на прочность, какая выдержит, и, естественно, заранее собирались врачевать не только изрешеченные тела, но и побитые машины. Наталья Константиновну Травкину взяли в мастерские по ремонту танков.

Мастерские они так только назывались, потому что постоянного пристанища для них не оказалось, приходилось каждый раз, по-цыгански переезжая, ютиться в самых разных местах, где можно было наскоро поставить тот или иной станок и загнать в ворота, часто проломленные в кирпичной стене, танк. Наталью встретил незнакомый доселе мир.

Её завели в длинный сарай барачного типа с оконцами поверху, приставили к большому корыту с керосином. Резкий запах керосина был знаком ещё до войны, брали его для лампы, а то и подтопки при сырых дровах. Но в последнее время пришлось перейти на каганец, и теперь этот запах приятно, мучительно напоминал прошлую жизнь и домовитый дух родного очага. Наталья помнит, как трудно было отмыть руки, если где попадёт крапинка керосина, и как от маленькой его толики портится продукт, долго неся невидимые следы тошнотного привкуса во рту. Теперь она окунала руки в керосин по самые локти и пропахла насквозь так, что всё на свете, за что бы ни бралась, куда бы ни пошла, ей отдавало машинной гнусью. Мыла она части от моторов, снятых с побитых танков. Поначалу давали ей что попроще – какую зубчатку или шатун, а как немного наломала руку, то и клапана, кулачковые валы и даже топливный насос. Особенно робко бралась Наталья за топливный насос, этот чуткий прибор, вызывающий в ней понятие чего-то нутряно-сложного и недоступно-скрытого в теле машины, отчего, может, зависела вся её железная жизнь.

Осторожно, чтобы не наделать заусениц, Наталья отвинтила нарезные болтики, сняла крышку с прокладкой, и, разобрав насос по частям, разложила их на доске, что брошена поперёк корыта. Прополо-скала всё по очереди. Насухо вытерла ветошью. Затем свернула тряпицу заостренным концом, выбрала мазутную черноту в недоступных уголках и как почистила, все части собрала на место. Обратным порядком.

Солнце блеснуло в верхнем оконце, косой луч, пробив чад цеха, высветил синий до дна керосин в корыте, тронул насос, и он улыбнулся, будто новый, освежёнными гранями.

Работа для неё была и занятой, и отрадной, Наталья просто забывалась на весь день и к ночи валялась на свой сенничек в такой утome, что лишь ухо – к подушке, а веки уже слиплись. Вот если б не руки...

Руки ныли по ночам во сне, не давали полного роздыху днём, на работе. Её тело прошли несколько пуль, одна задела мякоть четырех пальцев, жгутовые шрамы, стягивая кожу, мешали разогнуть ладонь. Но в том она никому не признавалась и, тая изъян, сжимала кулачок, чтоб, упаси боже, никто не увидел поранки и не вернул её назад, в гражданку.

Но больше мучили дети. Днём она как-то забывалась в работе, а вот ночью... Они приходили к ней во сне, и она ничего не могла поделать с собой, изводясь непроходящей болью в сердце. То являлся старший Ванюшка, уже пятиклассник – помога в хозяйстве и так, глава заместо отца над младшими. Слушали они его пуще матери, щадящей малых во всём, и она, наблюдая за ними со стороны, улыбалась себе самой скорбно-счастливой улыбкой, которая бывает лишь у матери. Учился он хорошо и уже было, заготовил книги на будущий год – обернул каждую в газетку, составил на полочке рядышком. Каждый раз, проходя мимо, не мог не остановиться перед завтрашней радостью. За ненужностью учебники в разруху никому не сгодились, их не растаскали, как утварь или еду. Остались они в избе нетронутыми, и Наталья, в последний раз прощаясь с родным очагом, обводя горницу глазами, задержала на полочке печально-долгий неразлучный в памяти взгляд...

То снился средний, Боря, озорник и лукавец, шут знает в кого удавшийся, и сделает шкodu – ни за что не признается, а как начнёт балагурить – век не переслушаешь и сразу не разберёшь, что несёт нескладицу. Но с уходом отца пострел как-то приник и стал незаметным. Где подевалась прыть. Забьётся в угол, сидит неподвижно, а как его окликнешь – посмотрит на тебя дикими не признающими глазочками...

Рауша у них вся в материнских заботах. И снится она чаще, как пеленает обёрткой из кукурузного початка свою тряпичную ляльку с глазами и носом, наведенными послунявленным химическим карандашом.

И всё ж постоянно снился Женя.

Наталье снилось, как она в крайнем напряжении выхватила его из колясочки, выскочила во двор, как что-то жёстко ударило её по рукам и как Женя, весь вздрогнув, тут же бессило смяк...

От жгучей боли в руках она сразу просыпалась и уже до утра не могла сомкнуть веки. Так сны мучили её из ночи в ночь, и она чувствовала, как выкрученная днём на работе, не набрав силы отдыхом, всё больше слабеет.

Рядом с нею, в цехе, работали такие же, как она, бабы, частью обездоленные похоронками, частью совсем ещё девчата, не изведавшие супружества и семейного счастья. Особенно она подружилась с Марфой – дебелой молодой из-под Фастова. Здоровая, размашистая в плечах, до упаду работающая, она тянула за двоих, и ей поручали даже неподъёмные коленвалы, которыми она орудовала, как рогаками у печи. Можно было только удивляться, как она поднимала тяжесть, недоступную и мужику. Марфа потеряла дитё в дороге во время эвакуации, когда бомбили эшелон, сходная доля сроднила их, тем более что позволяло соседство: железные корыта их стояли рядом и места их на втором ярусе деревянных нар тоже находились бок о бок. Однажды Наталья поделилась бедою:

– Не сплю я, Марфа, сны одолевают...

Марфа поставила коряжисто узловатый вал на попа, навесила крутой излом чёрных бровей над тёмными, как пропасть, глазами. Будто в сердце кольнула:

– Малэнькэ трэба.

– О-о-ой, – еле продохнула Наталья, тронув рукой грудь, где остались лишь висячие блинчики.

Те мысли, приспанные в сознании, всё же постоянно витали где-то рядом, но так ясно не прорезывались, может, из-за того, что она их боялась.

– И я хочу... – призналась Марфа.

Она отнесла поперек себя, упирая в живот, коленвал на пирамиду и, когда вернулась, добавила:

– Малэнькэ дуже хочу, Колымы не хочу.

Логика войны – в смерти. По своему подобию она диктует законы, супротивные самому существу природы. Строгий указ запрещал беременеть женщинам, служащим в армии. Таких отдавали под военный трибунал. Затем отправляли в тыл и после родов ссылали на лесоповал, а детей изымали в приюты.

Приказ им перед строем зачитал политрук и, без дрогнувшего мускула в лице, дал расписаться каждой. В том логика войны: жизнь убивалась в зародыше. Когда это было, чтобы зачатие приравнялось к умышленному членовредительству, и никогда ещё в человеческой истории не карали за беременность по самым суровым законам военного времени.

8

Поначалу было трудно привыкнуть к шуму и металлическому лязгу, что стоял в цехе с утра до ночи. Рычали на испытательных стендах моторы, грюкали, отдавая наковальным звоном в ушах, кузнечные молоты. С дребезжащим визгом, от которого мох поднимался на руках, бешено вращались карборундовые точила. Наталья, привыкшая к шёпотному шелесту спеющего жита, глухо земляному топоту босых ног, невесомому щёкоту степного жаворонка, вздрагивала от неожиданности, если включался тот или иной агрегат. Но постепенно вживалась в новые для неё звуки и уже различала, где какая идёт работа и для чего к «огненному жучку» – так называла она электросварочный аппарат – подгоняют громадину танка.

Ясное дело, лучше всего запоминала она детали, с которыми приходилось возиться самой. А когда увидели, что Наталья очень быстро освоила свою работу, её перевели кладовщицей. Она зашла в узкую коптёрку с электрическим освещением, с длинными стеллажами по бокам и растерялась – такая сложность свалилась на её голову.

На нижних полках лежало что потяжелее – опорные, для гусениц, катки с прорезиненными ободами, стальные секции траков, ведущие, с крупными зубьями, колёса. А выше – какие-то шлангочки, изолированные провода, медные трубочки. Отдельно, в землянке, хранились крупнокалиберные, все в масле, пулемёты, оптические, в коробках, прицелы и ещё целый ворох каких-то премудростей, которые она долго не могла осилить памятью. То, что у двери в землянку стоял часовой, говорило о важности и ответственности дела, которое теперь поручено ей. Здесь надо было крепко морочить головой, разбираться в бумагах. Наталья вся ушла в изучение новых обязанностей и вскорости уже неплохо разбиралась, что кому требуется и где находится та или иная деталь.

Вслед за деталями она познавала и людей. С утра, первейшим, прибежал из четвёртого цеха Самуил Мойшевич – Михайлович, как он изменил своё отчество, так легче произносить. Небольшого росточка, проворный и деликатный, он иногда мог принести даже конфетку, бог где раздобытую в такое страшное безвременье, и та облапанная, перемятая в руках карамель, которой он сластил, жгучей болью отзывалась в её сердце, напоминая детей...

– Будьте любезны... – беспрестанно повторял он и, поднырнув под прилавок, обходительно оттирал кладовщицу в сторону, а сам забирался в глубину склада, роясь и отыскивая на свою потребу то, что ему нужно. Он не давал Наталье поднимать тяжёлые железяки и сам отбирал их на тележку. Наталья в напряжении ждала, чтоб он уже управился, и когда Михайлович уходил, она с облегчением вздыхала.

Все остальные проходили за день как-то по-деловому незаметно, рабоче-обыденно. Ещё кто оставлял свой след в памяти, так это Аноха Крутских – мужиковатый зауралец с ухарско-раскидистым сибирским характером.

– Ну-ка, Алёна... – называл он её каждый раз не своим именем и тут же наотмашь, по-залихватски хлопал могучей ладонью по доске, припечатывая заявку.

Этому подай. Поднеси. И он не доходил до того крайнего унижения, чтобы это подсобить, снять какую-нибудь тяжелину с полки. С ним вообще разговор короткий: дай – и всё. Из-под земли вынь, а положи. Наталья побаивалась его – он и в ухо залепить может, не страшась штрафной, где, по его похвальбе, отбыл уже трижды.

В мастерские Аноха Крутских попал, выйдя по ранению в нестроевые, но каждый раз грозился подать рапорт, чтобы его отправили на передовую, так как ему, таёжному медвежатнику, постыдно «вакшаться с разными винтиками-болтиками». Но рапорт не подавал.

На работы в мастерские пригоняли немецких пленных. Зная, что у Натальи постреляли детей, Аноха куражился.

– Если ф я, Даха, иво сустрел... ты мне, лишь покажи, я иво, гада-заподлючного, вот ентими клешняками, – выставил он руки-ковши и попытался притулиться к ней плечом, отдающим терпким козлиным потом.

Наталья развернулась, сжала, что силы, израненный кулачок и со всего маху саданула в вонючее плечо. Отскочила, себе дивясь, в угол, оскалилась ледяными остриями глаз.

После ухода Крутских Наталья приходила в себя, успокаивалась, зная, что теперь уже до вечера всё сойдёт благополучно.

Ещё находясь в цехе, Наталья не слышала, что происходит за его стенами. Перестук ремонтного грохота заглушал все прочие звуки. Теперь же, оставаясь наедине в минуты коротких роздыхов, она всё отчётливее разбирала неясный, утробно-земляной гул, что доносился со стороны фронта. А по тем танкам, что в большинстве поступали на территорию мастерских, можно было хотя бы отчасти представить,

что там творилось. Говорили о том, что тяжёлые бои идут под какой-то там Прохоровкой, о которой она и слыхом не слыхала, да теперь война учит всех своей географии.

К вечеру канонада усилилась, и Наталья с тревогой посмотрела на дверь. Задумалась на минуту, сняла с гвоздика заявки, что собрала за весь рабочий день. Отметила прибыль-убыль в книге учёта, потушила свет. Захватила амбарный замок, вышла из своей каморы...

Во двор мастерских волоком тащили битую технику – тяжелейший танк. Старшина Самойлов – комендант подразделения – поднял руку. Сцеп остановился, и танк, клюнув опущенным дулом пушки, замер.

Танк весь был в пыли, оскалисто блестели свежим металлом на его мёртвой туше снарядные поранки. Одна из колдобин была величиной с ладонь, Наталья подошла ближе и, примеряя, вложила в неё пораненный кулачок.

– Божечки ж ты мой, силища-то какая супротив мягкого тела.

9

К осени фронт откатился далеко, под самый Днепр, тылы начали подтягиваться, и воинская часть, в которой служила Наталья, готовилась к передислокации. Привычный, уже как-то устоявшийся ритм жизни сбился. Всё пришло в необычное движение. На склад запасных частей в подмогу выделили несколько девчат. Тесное, забитое деталями помещение заполнилось оживлённым гомоном, стуком молотков, забивающих гвозди в деревянные ящики. Наталья моталась распорядительницей из конца в конец своей каморы, еле поспешала.

По правде, новые слова, особенно длинные и совсем не русского звучания, настораживали её. Помнится, как странно, дико – на ляд кому оно сдалось! – отчуждённо прозвучало для неё слово «эвакуация». Затем она испытала на себе, что такое «оккупация», перевернувшая как ничто её жизнь. Теперь вот это – слово «передислокация»...

Постигая всю эту несусветную муть, Наталья начинала понимать, что война имеет и свой страшный язык.

Да в круговерти повседневных забот некогда особенно размышлять. Лишь поздно вечером, когда она после смертельной утомы валилась на свой сенничок и смыкала веки, невольно приходили мысли: какая непомерная работа идёт следом за фронтом – это ж надо только подумать! Ничто на свете не берёт столько сил, как война, и ничего худшего люди не могли себе придумать, как ту же бойню...

На погрузку эшелонов пригоняли из лагеря пленных. Немцы брели, гребя сапогами пыль, нечётким строем длинной колонной, под окриками стрелков расходились небольшими кучками по цехам. В кладовую выделяли человек пять-шесть. Стараясь не смотреть в глаза русским, немцы сразу принимались по-деловому за работу. Свободно ходили между стеллажами, сдвигали ящики, выносили их во двор. Странно было смотреть на их зелёные френчи в нашей обжитой своим духом каптёрке, слушать короткий переклик чужой речи. Трудились они не спеша, но споро, работа у них подвигалась укладисто. В такой близости Наталья ещё не встречалась с немцами и, как чумных, чуждалась каждого, кто проходил мимо, непримиримо посматривая на них из-под жёстких бровей остистыми глазами.

– Командант, – обращались немцы за указанием к Наталье, сразу признав её тут за хозяйку-распорядительницу. Будто варом обжигало её это инородное слово.

Однажды она очутилась с немцем так близко, что случайно они столкнулись. Испугавшись, Наталья отпрянула назад. Пленный тоже в страхе отступил к полкам. Но по его полохливому лицу было видно, что стухнул он больше оттого, что толкнул женщину. И как ни странно, боялся он того, чтобы «командант» не приняла недоразумение за какой-нибудь срамной умысел. Пленный искал в её глазах извинение, и она, не улынувшись, чуть смягчила черты лица.

Конечно, это были уже не те немцы, которых она потай наблюдала из своего лазаретного запечья через шибку, вмазанную в стену, или которых встречала, бедую по дворам близких и знакомых. Спесина на них была сбита начисто, хотя и держались они гордо и независимо, аккуратно исполняя свой невольничий долг. Наталью поражало, что даже голод не принизил их головы. Бывало, помнит она, до какого унижения доходили при немцах наши пленные из-за огрызка чёрствого хлеба, а эти будто не видят, если кто развернёт бумажку с варёным бураком или принесёт горсть семечек. И хотя на них была все та же зелёная, правда, теперь уже довольно обмятая форма, вызывающая омерзение, те же обкованные кусочками металлических пластин вдоль ранта сапоги с широкими и уже этим почему-то отвратительными раструбами халявок, те же пилотки, отношение к ним изменилось, ибо трудились они честно, без хитростей и отлынивания, держались достойно, и это вызывало чувство какого-то ещё неосмысленного до конца не то что уважения – этого слова в то время применительно к немцам допустить было нельзя,

– а простого человеческого отношения. Тронув костистого немца плечом, Наталья, на удивление себе, ощутила такую же, как у всех, человеческую плоть, и это больше всего привело её в какое-то непонятное смятение, будто она раньше не знала этого, не представляла, да и не думала, что у них есть ещё и тело, уж не говоря о душе.

Немец, вытянувшись виновато, повторял одно и то же слово, Наталья, округлив глаза, непонимающе и понимающе смотрела на него из-под дрогнувших в горестном изломе бровей. Конечно, это были чужие слова, Наталья их не слышала ещё, но они не походили на те, «военные», что знала она прежде, и теперь поняла, немец извиняется.

– Иншульдиген зи, иншульдиген зи, битте, – повторил он, и в его приглушенном голосе чувствовалась не только неловкость, а и уважительность, которую можно встретить у мужчин к женщинам не часто.

Наталья молча кивнула головой. Немец еле заметно улыбнулся.

«Зачем всё это?.. Ведь он такой же, как я... И никакой не зверь... И кто всё это придумал?..»

10

Пленные немцы, обращаясь к ней со словом «командант», будто нарекли: весной, когда снег сошёл и земля взялась мягкой опушкой зелени, Наталью вызвали в штаб части.

В ту пору находились они уже в районах Западной Украины, местности для Натальи новой и необычной своим хуторским складом. Странно, вместо привычных для неё сёл на русских просторах встречались тут лишь отдельные, с подворными постройками, усадьбы, раскиданные друг от друга на сотни метров. Смотришь в одном месте, у перелеска, соломенные стрехи кольцом – хата, сарай для скота или, как тут называют, повитка, высокий конус клуни, приземистый дровник, – в другом, у самой низины раскатистого яра, в третьем – на самом яру увальной хребтины, где, видно, судьбою выпал лоскутный надел. По узкой стежке, пробитой в плотном, ещё невысоком дёрне, она спустилась вниз, к небольшому ключу, перешагнула ручей чистой, как стекло, воды, поднялась на пригорок, где стояла усадьба, обнесенная жердяной загородой. Вечерело. Окна, выделив крестовины, зажелтели слабым светом, во дворе, кроме часового, никого не оказалось. Наталья назвала пароль и вошла в узкие ворота.

По сути, она себя не считала военной, хотя носила гимнастёрку и солдатские, уже совсем сбитые, ботинки. Поэтому не имела моды, как другие молодайки в армии, козырять рукой. Вошла, согнувшись под низкой притолокой, в крестьянскую хату и, ещё не различая лиц, поздоровалась, как это было принято у них на хуторе, с небольшим поклоном головы. Ей сделали замечание.

В хате было темно, горела вместо лампы сплюснутая под фитиль гильза от крупнокалиберного пулемёта. Однако Наталья уловила, как один из тех, что находился ближе к огню, поморщился. Его широкие погоны отражали свет серебряными зеркальцами, положенными на плечи, а высокая фуражка захватывала округлой тенью почти половину белёсого потолка.

За некрашеным столом сидело человек пять. Военные звания, которые Наталья различала уже хорошо, были у всех высокие, и она просто растерялась, кому следует доложить, что явилась по вызову, тем более что офицеры, вероятно, отложив свои дела, свели на ней не то любопытные, не то испытывающие взгляды.

И прежде она ощущала страшное стеснение, когда ей уделялось всеобщее внимание. Тот митинг на машине с опущенными бортами до сих пор, если вспомнит, отзывался в сердце, а здесь такое большое начальство, и она, остановившись у порога, не в силах шевельнуться, чувствовала, как у неё занемели ноги.

– Наталья Константиновна Травкина? – вывел её из оцепенения всё тот же подполковник с блестящими серебром погонами.

– Травкина, – коротко ответила она.

– Ну, как вам работается?

Такого вопроса Наталья не ожидала. По правде, с тех пор, как оповестили её про вызов, передумала она о многом. Вообще, тяжёлое состояние переносишь, когда вот так идёшь в полном неведении, что тебя ожидает, и за дорогу чёрт знает что в голове перетрёшь. Была и затаённая слабая надежда: может, какая весточка о муже Иосифе объявится... Но тут же эту мысль притупила другая... Наталья даже в уме боялась произнести то страшное слово...

Ей следовало отвечать, а она молчала. Ну, как работается? Как всем. Ноша досталась тяжкая, да рази кому сейчас легко? Поди, весь свет на одном горе сошёл, хотя Наталья видела, что кое-кто удобно укрылся в затишье мастерских, война-то она не всем одинаково достаётся, кому мимо, а кому всё в рыло

да в рыло, как говорится, кому беда, а кому мать родна, да не о том толк и забота – скорее бы замирилось на земле, уж мочи нет больше терпеть...

– А как у вас с образованием? – спросил всё тот же подполковник, и Наталья поняла, он тут главный.

С образованием один смех, да и только. Из хутора до школы далеко, походила, пока снег выпал, а больше обувки не было. На второй год – ещё столько же.

– Вы сколько окончили классов?

– Один-два, хоть друг о дружку стукни.

Подполковник сразу не разобрал, а когда понял, чуть заметно улыбнулся.

– Вот тут её накладные, – сказал другой офицер, у которого на одну звезду меньше на погоне, а медалей на груди больше, и положил перед подполковником несколько листов.

Подполковник внимательно рассмотрел бумаги. Потом спросил:

– Так ты одна осталась?

– Чисто одна.

– А муж?

Наталья пожала плечами.

Кто его знает? Может, на хутор и приходят письма, да так и оседают в портфельчике, а вернее всего, не идут, возвращаются по обратным адресам, ведь там, в Троицком отделении связи, знают, что почту в хутор носить некому. Наталья впервые пожалела, что сорвалась с места, может, уже знала бы какую весточку. Теперь со слов подполковника она поняла, что вызвали её не для того, чтоб сообщить, где Иосиф, и мысленно усмехнулась своим наивным надеждам...

На столешнице лежала ещё какая-то бумага, сложенная пополам. Наталья сразу и не заметила её. Но когда подполковник перестал задавать душу выворачивающие вопросы и начал внимательно читать, что там написано, а все остальные стали ждать, пока он кончит, Наталья тоже положила глаза на тот чуть синеватый листочек. Она уже знала: на всех, кто нанимается в армию, заводят личное дело, это, наверное, и была бумага на неё.

– А где вы находились во время оккупации? – перебил её мысли подполковник.

Опять это страшное военное слово. Наталье уже приходилось отвечать на него, будто она в чём виновата. Иногда из далекой германской кабалы возвращались невольники. Кое-кого отпускали по неизлечимой болезни, иным удавались побегі. Числились они там, на каторжных работах, по номерам. Цифровую наколку наносили на руку, чуть ниже локтя, Наталье приходилось видеть эти страшные знаки. Теперь она чувствовала, на неё тоже наложено какое-то клеймо, которое, как татуировку, и не снять, и не счистить.

– Блукала по свету...

– А чем занималась?

Ну, чем можно заниматься, как не спасением души, хотя с какой радости дерево, если на нем не убергли листочки...

Отпустили её, когда уже совсем за вечерело, боязно было возвращаться назад. Как на допросе побыла. Выкрутили её вдоволь, как хотели. И так брали на испыт, и этак. Всю на изнанку вывернули. А чего добивались, не понять. Ничего ж она такого не сделала, не допустила. Думала, ночами глаз не смыкая, что б всё это значило, да молвить кому слово про тот вызов не решалась. Может, запрет в военное время таким разговорам, сколько вокруг всего засекречено, она сама ставила подписи на всяких предупредительных документах.

Лишь через три недели Травкиной выдали военную форму, теперь уже настоящую, не обноски, и назначили комендантом ремонтных мастерских. Пленный немец как метил.

11

Наталья пристроила на ящике зеркальце, подобрала одной рукой волосы, а другою примерила пилотку. Лицо сразу, посерьёзнев, преобразилось.

Подбила пилотку на бок, чуть натянула на лоб, как делают солдаты, и, повернув голову, глянула как бы со стороны. Еле узнала себя. Военная одежда придаёт человеку мужественный вид, но в той женщине, которую отражал небольшой осколок, скорбно прорезались прежде всего исстрадавшиеся черты.

Прихлопнула зеркальце обратной стороной, уронила лицо в ладони.

Конечно, вся эта амуниция – и сапоги, и ремень, и погоны – подтягивает и строжит, да и в глазах окружающих как-то утверждает, вроде ты становишься сильнее, хоть под гимнастёркой бьётся всё то же

трепетное женское сердце. Но с тех пор как Наталья увидела во дворе надвигающуюся зелёную форму с огоньками на животе, у неё как сложилось ко всему, что связано с войною, отвратное отношение, так и осталось на всю жизнь, чья бы та форма ни была. Форма служит смерти, а не для жизни, что претит материнской сути. Никогда Наталья не думала, что сама влезет в неё...

Да куда более сильное потрясение она перенесла, когда её вызвали в особый отдел.

Сидя за деревянной перегородкой, под плакатом, призывающим убить зверя в его же логове, особист в портупее через плечо и гвардейским значком на правой стороне груди развернулся на скамейке и, не вставая, допьялся к ящику, обитому железом, поднял крышку, вынул оттуда кобуру, положил на перила загороды. У Натальи обмерло сердце.

Тёмно-коричневая кобура из добротной выработанной кожи лоснилась на истёртых до черноты гранях, и то, как эта зловещая штука тяжёлым тупым стуком легла на перила, означало, что она не пустая.

Наталья, положив руки на грудь, отступила назад.

– Пошто оно мне... – выдохнула стоном.

– Положено, – казённо ответил особист, и то, как он произнёс это слово, дало понять, в какие жёсткие тиски угодила она. Так что и не выпрыснешь.

Особист справил бумаги, а Наталья неприкаянно стояла у стены, под плакатом, и ей невольно вспомнились слова: «Убей немца!»

– Мы переходим границу, – объяснил он, смягчая тон, – а там логово. Да и тут, по лесам, зверья всякого навалом. Сейчас без оружия нельзя.

Думала ли она, гадала, куда забросит её судьбина. Могла ли допустить, что очутится бог весть где, в глуши неведомого края, о котором и помыслить не могла, сидмя сидя тридцать годов на хуторе, ведь за всю свою жизнь она и знала-то всего Троицкое да материну Ястребовку...

– Расстёгивай ремень, – оборвал Натальины мысли особист, усекнув её замешательство.

Туго соображая, захваченная тяжкими думами, Наталья не уловила пошлости во фразе особиста. Сняла руки с груди, щёлкнула пряжкой. А он, выйдя из-за своего прилавка, живо перехватил ремень, ловко нанизал на него мочку кобуры. И, молодецкато угнувшись, обвинил её талию поясом, норовя пальцами ужать бёдра.

Вскрикнув, Наталья отскочила. Металлическая штуковина, обтянутая кожей, грохнула на пол. Только тут Наталья поняла, что произошло.

«И как он может!» – в отчаянии произнесла мысленно, чувствуя, как участилось дыхание.

С тех пор как она попала в армию, кроме всех прочих невзгод, приходилось ещё испытывать на себе давление облапывающе-похотливых взглядов щеголеватых офицеров, терпеть похабные шутки отъевшихся старшин. И чем дальше продвигался фронт, чем сытнее становилась в армии жизнь (а с переходом через границу начхозы не гнушались подножным прокормом), тем наглее становились увивания напорных приставал. Никогда не думала она, мысли не допускала, что в таком строгом и суровом деле, как война, придавившая неизбывным горем, найдётся место для постыдного блуда. Как перед концом света обезумели люди...

Да в следующую минуту она зацепенела, перетрусив задним числом, как эта штуковина, что грохнула на пол, не пальнула!..

– Распишитесь вот здесь, – сухо, отчуждённо произнёс особист и указал пальцем на графу в журнале.

Наталья старательно, чтоб не покривить почерком, медленно, затягивая время и отдаляя ту неприятную минуту, вывела свою фамилию, положила ручку. Робко, насильно потянулась к темнеющей кобуре, и первое, что ощутила, так это вес. Пистолет оказался намного тяжелее, чем она предполагала. Невольно подумалось, как всё то, что губит жизнь, сделано основательно и прочно, и как то, что стоит против бранной беды, зыбко и ризимо.

Несколько дней Наталья не решалась ходить с оружием. Так тяжела была эта подневольная ноша. Ей бы жизнь понести под сердцем, а не смерть...

Подпихнула увесистую кобуру под сенник, вроде забыла, а мысль та сторожко стояла всё время на чеку, и куда бы ни пошла, что бы ни делала, выкинуть из головы её не могла. Но и оставлять без особого догляду проклятую машинку нельзя. За тот кусок железа, так ловко, старательно выделанный умельцами ружейного дела, и за решётку сведут.

В овраг, на стрельбы, Наталья приохотилась к Марфе. Метилась Марфа без промашки, пистоль брала запросто, как ухват или кухонный нож. Пригнанная по ладони рукоятка пистолета начисто, без остатка, тонула в её широкой мужицкой руке.

– Я колы ходыла в осовиахим, то там и воздушка була и мелкашка. А патронив сколько хочешь. Инструктор втюрився, так я вже настрилялась, – озорно подмигивала она.

С трепетным, каким-то внутренним страхом Наталья смотрела на тёмно-округлую дырочку воронёного дула, откуда идёт смерть.

– Ты ось так, – учила её Марфа, – ливу ногу вперёд, а плечи трохи розверны.

Собрав все, что ни на есть морщины у висков, Наталья стискивала веки и, как ни готовила себя, всё равно от резкого хлопка вздрогнула, хотя стреляла Марфа. Иначе не могла.

– Шо ж тут такого! – дивилась Марфа и, оттянув и тут же спустив на место верхний металлический брус, передала пистолет Наталье.

Минута далась трудно. Надо было превозмочь что-то такое, чего она не могла. Не смела. Что перечит всему её материнскому существу. Взяла пистолет, и он ожёг руку мертвяще холодной твердью. Тот холодок оледенил душу, напомнил самую страшную ночь, когда она, пересиливая смертельный недуг, нанесённый ранами, дотянулась, прощаясь, горячей в жару ладонью к остывшему лобику Вани...

– Шо ты! – не поняла Марфа.

Она подошла вплотную, взяла Натальину руку и через её палец сверху нажала на спусковой крючок. Выстрел хлопнул незамедлительно. Сильный толчок ударил в плечо. В ноздри въелась пороховая гарь.

12

Как-то по осени, уже за Вислой, к мастерским подъехала полуторка. Из кабины, хлопнув дверцей, вылез измятый сержант с медалями на груди и пышными усами на загорелом лице. Волосы на голове у сержанта были светлыми, усы чёрными, с винтами на концах. Сержант подошёл к часовому на проходной.

– Слушай, паря, – обратился по-простецки, – как бы нам загнать старушку на яму.

И кивнул на свою полуторку.

Часовой, примкнув ложе винтовки со штыком к ноге, не ответил.

– Чё ты, будь человеком, – отступил назад сержант.

– Не положено, – коротко ответил часовой.

– Знаю, разговаривать на посту не положено, а ты кликни кого.

– Он – комендант, – махнул свободной рукой часовой во двор.

– Иде?

– А вона.

– Дык то ж баба! – воскликнул сержант.

– У нас комендант Травкина.

– Травкина?... – удивлённо произнёс озадаченный сержант.

– Да, Травкина, – утвердил часовой.

Наталья обратила внимание, у ворот происходит что-то непонятное, приблизилась к воротам.

– Сержант Орлов, – отрекомендовал себя бравый усач.

Выяснив, что надо, Наталья разрешила заехать.

– Знаете, – с благодарностью говорил сержант, поспешая следом за комендантом, – без ямы нам не обойтись.

И на ходу подкручивал усы. Наталью эти буравчики раздражали и смешили.

– А если б у вас нашлось болтиков на шестнадцать штуки четыре, и вовсе было бы прелестно.

– На шестнадцать найдётся, – ответила Наталья и крикнула часовому: – Выпустишь потом!

Часовой согласно кивнул головой, а Наталья пошла в кладовую за болтами. Сама не понесла, послала Марфу, которая к тому времени заняла её место кладовщицы.

Шофёр залез в яму и возился недолго, что-то с полчаса. Поддомкратил одну сторону, ослабляя рессору, затем перешёл на другую. Сержант, оставаясь наверху, согнулся в три погибели и, вывернув бычью шею, отчего глаза его налились краснотою, заглядывал под колёса, давал руководящие указания. Наталья, захлопотанная своим, выпустила их из виду. Как вдруг её позвали.

«Чё ищё там?» – повернула голову в сторону полуторки.

Если б знала, не теряла времени, а то, вишь, какое важное дело.

– Спасибочко превеликое, – картинно выставял свои усы сержант, – ей-богу, не добрались бы до расположения.

– Да не за что! – она всегда испытывала стеснение, когда ей выражали благодарность.

Надо было выгонять машину за ворота, а сержант мялся. Он явно хотел что-то сказать ещё.

– Тут вот какое дело... – начал несмело сержант, и Наталья подумала, они будут просить ещё что-то.
– Мы слышали, ваша фамилия Травкина?

– Травкина... – остановилась от неожиданности Наталья.

Сержант Орлов тянул, Наталья, предчувствуя что-то ещё неясное, настороженно заволновалась. Сердце её замерло, а дыхания не стало: может, о Иосифе что?..

– У нас тоже в части есть Травкин.

«Слава богу», – отлегло на душе, и она с облегчением вздохнула.

– Возможно, какой родственник, а то – муж?

– Кто иво знать, – произнесла она и спокойно добавила: – Травкиных много на свете...

Сержант со своим шофёром уехал, а разговор не выходил из головы. Так всю ночь и промаялась в смутных догадках. Думала Наталья о нём, Иосифе. И хотя она не видела его в военном – как ушёл в своём пиджачке и самодельных черевичках, так и остался в глазах – и не представляла, как он мог выглядеть в гимнастёрке и галифе, всё виделся он ей то вымученным после тяжёлого ранения, то вот таким, бравым, с медалями и солидными, как теперь, к концу войны, стали заводить многие, усы, и она гнала радостные, печальные мысли долой, но они упорно сопротивлялись и мучили обессиленное к утру сознание...

А сержант Орлов, встревоженный случайным совпадением, тоже не мог успокоиться. Вернулся в своё расположение, отыскал Травкина. Тот как раз чинил колесо походной кухни, стоя на колене.

– Что делаем? – подошёл к нему бодро, уверенный в добром деле.

– Да вот... – указал на поломанную спицу Травкин.

Вообще, Травкина в части знали как мастерового человека, руки его были действительно золотые, их приберегали для всяких поладок.

– Слушай, паря, ставь магарыч.

Иосиф, не обращая внимания на болтовню Орлова, копался в ступице долотом, выковыривал трески дерева.

– Ты чё ж, глухой?

– А тебе чего? – серьёзно спросил Иосиф, не выпуская долото и молоток из рук.

– Жену твою нашли, говорю.

На те слова Иосиф не обратил никакого внимания, мало кому взбредёт охота поболтать языком на подвесах. Внимательно сосредоточась, примерил затесок новой спицы в норку ступицы, чиркнул гвоздём метку, где обрезать.

– Правду говорю.

Вдруг мысль как-то повернулась, и он опустил молоток наземь. Всякого случалось повидать на фронтовом веку – вызволяли из концлагерей пленных, вызволяли и гражданских, угнанных в неволю даже с детьми, и у него мелькнула страшная догадка о том, что среди всего этого подневольного, изведенного под корень люда, могла оказаться и его Наталья с малыши. Та ж хуторская сторона, он сколько ж под ним, супостатом находился и оттуда сколько не кидал в последнее время, как освободили, солдатских треугольников – никакого отзвука.

– Иде?... – еле продохнул. Руки у него дрожали, кадык ходил вверх-вниз.

– В армии.

«Ну, это уже чистая, без подмеса, коротенька побрехенька, – отлегло от сердца, – тут меня не ку-пишь».

В следующую минуту он уже возмущился: рази можно так изгаляться над живою душою! Что за смешки! С этим не шутят.

– В армии, говорю! В мастерских служит. Комендантом.

Куда ей до армии, когда за подол четверо тянут – мал-мала меньше. И какой из неё, деревенской бабы, да ещё и комендант!

– Натальей зовут твою?

– Натальей... – оторопело моргал глазами.

– Константиновой?..

– Константин отец был... – ещё больше дивился Иосиф.

– Высокая?

– Высокая.

– Красивая?

– Ну дак! – улыбнулся.

13

Сержант ушёл, заронив смятение в душу, а боль оставил. Невысказанную. Выстраданную. Не давала она продыху, не давала жить. И что ни делал, всё валилось из его золотых рук.

Ночь не спал, наутро явился к своему командиру части. Объяснил всё, и его отпустили. Воинская часть, где он служил в ту пору, находилась во втором эшелоне, после ранения Травкин уже не числился в строевых, а так, скитался по тылам на подсобных работах.

Точно десяток лет свалил разом наземь тяжким грузом, первый раз за всю войну причепурился, как в молодости, зачесал чуб, который к тому времени уже особо не запрещали в армии, вышел, весь подтянувшись, на КПП и упросился на попутную машину.

Иосиф толковал с часовым, доказывая, кто он и зачем, а глазами шастал по двору. Увидел женскую фигуру в гимнастёрке и, ещё не узнав, распялся на железных прутьях ворот.

Она, точно сердце почуяло, вскрикнула внутренне, повела глазами – обмерла...

Нет, это был не он. Не его стать. Чёрное, исстарившееся морщинами лицо. Запалые, точно вытекшие, глаза...

И – он. В человеке всегда остаётся что-то такое, что навеки роднит его с другим человеком и что никаким временем вытравить нельзя. Это был он, её Иосиф. Обнялись, потерявшись, уронив головы, беззвучно забили судорожной дрожью плечи.

– Где ж дети? Дети где? – Очнулся он первым, глядя на неё, и, ещё не рассмотрев, не признав настоящему за свою, насторожился. Глаза невольно искали ещё кого-то, хотя не верилось, что такой выводок можно за собой волочить по ухабинам войны.

Щадя солдатovo сердце, она не сказала ему о детях, надо было немного отойти от встречи, хотя он сразу что-то уловил в её уклончивом взгляде, в горьком вскрике губ. А тут люди вокруг. Диво-то какое. Почти со всех цехов сбежались. И никто никому никаких вопросов – всё понятно и так. Не к месту слова, ничего сейчас незначашие.

Вечер был тяжкий. Самый чёрный из всех. И как только его снести. Их оставили наедине, и они потерялись, о чём говорить. Нет, за годы войны собралось столько, что и за всю жизнь не разведёшь, а уста разомкнуть не в силах. Наталья, уронив голову на грудь мужу, выплакивала последние слезинки, а горло душила такая сухота, такая боль, какой ещё не было. Никогда она не думала, что боль живёт своей жизнью, идя где-то рядом с тобой, и, может быть, сильнее, чем при горе...

– Где ж дети?.. – упорно он стоял на своём.

В первый день она ничего не сказала ему, щадила. Перепоручила, мол, добрым людям, и он, отшатнувшись, осуждающе посмотрел на неё – как это можно оставить четверых на чужие руки? И этот укор тоже надо было снести...

– Что это? – взял он её руки в свои.

На тыльной стороне ладони виднелось круглое, в копейку, пятнышко. Пуля, пройдя сквозь кисть руки матери, вошла в головку ребёнка, смешав кровь матери и младенца.

Его интересовали подробности, а подробности мучили её, и он замолкал надолго.

– Какая ты у меня исстрадавшаяся...

В окне уже светало, а они всё сидели, не видя друг друга, смутно чувствуя далёкую отвыкшую близость.

– Как же это?..

– Кто иво знать...

Разные толки по земле блукали подпольно, в то время и дыхнуть о том нельзя было. Говорили, будто в одном из сараев хутора остались наши раненые. Вывезти их не успели при отступлении. Немцы начали подходить, кто-то из раненых выстрелил в щёлку между брёвнами... Немцы, разъярённые, за убитого своего солдата зашли цепью, выстригли всех поголовно, кто находился в хуторе.

– Ты видела его? – неожиданно спросил Иосиф.

Наталья не поняла.

– Ну, который?..

– А как же. Высокий такой бежал. Узкоплечий. Каска на лоб, лицо рудое, нос крючком. И золотые огоньки на зелёном животе...

Долго сидели молча. Потом он спросил:

– Узнала б?

– У него шрам на щеке.

И ещё он спросил:

– Ну а если б сустрелся?

Наталья не ответила.

14

Каждый раз, как приводили на работы немецких пленных, Наталья, холодея сердцем, скользнёт беглым взглядом поверху, по головам, задерживаясь на высоких, моля бога, чтоб не попался тот, которого запомнила на всю жизнь, и, не найдя, крестясь про себя, отходила постепенно тем же сердцем.

Война тем временем приближалась к своему завершающему концу, настроение поднималось, и командование, узнав о такой небывалой встрече, оставила Травкиных вместе, при тех же мастерских, тем паче что Иосиф в строевых уже не значился, а руки у него на всё гожие и в их ремонтном деле пригодились. Отвели им небольшую каптёрку, где поместились всего кровать да сбитый из ящиков стол с осколком зеркала, в которое Наталья стала смотреться чаще. Жили они, как ещё никогда, щадя друг друга, Иосиф жалел её, глядя, какая она несчастная...

И материнская плоть, то ли истосковавшаяся по настоящей жизни, то ли по своему назначению, пробудилась. Наталья понесла.

Но в том никому не призналась. Ходила по земле святою, храня таинство. И если б кто внимательно пригляделся со стороны, то мог заметить, что движения её стали сдержаннее, а осанка покладистой и степенней, как и должно у будущей, уж если уже не бывшей, матери.

Как-то на плацу перед мастерскими выстроили для пересчёта новую партию пленных. Наталья, проходя мимо, бросила исподбровный взгляд, повела поверху машинально глазами, как всегда, как привыкла, и уже намерилась в кузнечный цех, как остановилась. Глаза о что-то споткнулись, а сердце дрогнуло. Прошла мимо, вернулась. И – узнала шрам. Через всю щеку от скулы к губе. Тот самый, который узрела она, когда немец надвигался на неё с автоматными огоньками на животе. Вся боль сошлась в одно у сердца, рука невольно потянулась к поясу.

Наталью узнать он, понятно, не мог. Мало ли таких прошло через его руки. Это она, единого, отпечатала памятью навечно – в железной, надвинутой на лоб, каске, с браво закатанными по локти рукавами, с куцей корягой автомата на шлее через плечо, он бежал, не чуя под собой стонущей людским горем земли, люто сменяя всё подряд, неся ещё небывалое зло.

Она расстегнула кобуру, и всё в ней сжалось до предела. Весь мир сузился в одну точку.

Да это был уже не тот немец и как бы не то зло. Он, съёжившись, держа застывшие кулачки в карманах распушенной, без пояса шинелишке, стоял на снегу в опорках, закутанных рогожей. Раскатанная пилотка была натянута до самых ушей, шрам почернел, а синий крючковатый нос обречённо торчал из поднятого, куцевого и негреющего воротника. Претерпевая холод, немец ждал, пока закончится пересчёт, и, ничего не подозревая, смотрел на хлопочущих солдат охраны.

Ум что-то медлил, а рука тянулась к беде. Тронула холодный металл, на мгновение остановилась. Тот смертный холодок жгучей болью отозвался другим, таким похожим, когда она, прощаясь, дотянулась простреленной ладонью к остывшему лобику...

Нашупала рукоять, её рубчатый бок, весь в нарезках, но такой же холодный, как вдруг что-то глубоко под сердцем, глухо, утробно, давая о себе знать сюда, на божий свет, стукнулось живое, и пальцы её дрогнули. Преодолевая ещё невиданное сопротивление, собрав все воедино, какие у неё были силы, ещё не осознавая до конца, что делает и для чего, Наталья, с трудом размыкая пальцы на притягивающем, как магнит, металле, одёрнула руку. И застегнула кобуру.

Чтоб никогда не расстёгивать её.

P.S.

Когда-то у меня была встреча с читателями на комбинате строительных материалов, что в Алексеевском районе Белгородской области. Шёл как раз юбилейный год, и я вспомнил трагедию на хуторе, как называла её Травкина – Калиновка, и как его именовали официально – Красный. Смотрю: в зале женщина вытирает платком слёзы. Подходит позже, говорит, что среди расстрелянных там детей и её родные. Видная, рослая женщина лет сорока – а это было на 40-летие Победы, в 1985 году – называет пятнадцатилетних подростков дядей Мишей и дядей Егором.

Это оказалась Нина Николаевна Турова – дочь Марии Фоминичны Черных, которая приютила израненную Травкину у себя в Троицком. Нина Николаевна и помогла мне встретиться с Натальей Константиновой.

И вот я подхожу к дому, где живёт Наталья Константиновна, волнуясь, сейчас увижу мужественную женщину с такой мирной фамилией – Травкина. Что она расскажет и захочет ли? Сколько осаждают её с расспросами, а каждый раз всё надо пережить заново, перенести...

Дверь отворилась, и передо мною выделился силуэт женщины. Дальний свет падал из-за спины, трудно было рассмотреть её лицо, но я понял, это она, по незгорбленной, хотя и под восемьдесят, фигуре, по спокойным сдержанным движениям.

Небольшая комната, деревянный шкаф ручной работы, скамейки, сделанные, как я узнал позже, хозяином – мастеровым человеком. Мужа своего, Иосифа Кузьмича, она уже к тому времени похоронила, дочь Вера вышла замуж, живёт Наталья Константиновна одна.

...С тех пор как случилась беда, прошло более сорока лет. И я беру эти израненные руки в свои. Руки матери, в отметилах шрамов. Растивших хлеб. Пестовавших детей. Я беру эти святые руки в свои и с неимоверным усилием над собой, с болью в сердце, силюсь представить, как вот сюда, в белесое пятнышко на тыльной стороне ладони, поддерживающей головку, вошла пуля, смешав кровь матери с кровью ребёнка...

– А дети до сих пор приходят ко мне по ночам. Боря занесёт дров, а то у мамы, мол, палец болит (это он знает, что я пораненная), и я просыпаюсь и слышу, как ноют мои руки... Одно время Ваню видела. Часто. Почти каждую ночь. А потом отошёл...

Наталья Константиновна замолкла, долго сидела не шевелясь. Сжались, белея, губы запалого рта. Судорожно дрогнули изрешеченные пулей пальцы рук.

Кто приходит? Да разве расспросишь каждого?.. Чаше они расспрашивают. Привечала всех одинаково – и школьников, затеявших сбор в её квартире, и многих приезжих с фотоаппаратами и записными книжками. Не знала она, что среди гостей были скульпторы и художники.

– Вам рассказываю, а сама не могу... Когда от меня уходят, обтираюсь холодной водой. И там, у памятника, боялась, что не выдержу... Набили мне рот таблетками... Но говорила, кажется, правильно, откуда слова брались... Вот, альбом подарили...

Листаю картонные страницы.

– А это кто, Ваша дочь? – указываю на девочку, что изображена рядом с Натальей Константиновной на памятнике.

– Нет. Это Марина. Яковлева Марина Ивановна. Нас из высылков осталось-то двое...

Когда немцы заскочили в хату, девочка забилась под кровать и тем спаслась. Отца и мать с братишкой расстреляли, а она жива осталась... Живёт в Киеве.

Наталья Константиновна как-то вся подобралась и уже другим голосом продолжила:

– А дочь с внучкой бывают у меня часто. И зять Анатолий Григорьевич возит меня к памятнику, это недалеко. Там, под плитой, пятеро моих с мамой... И на то место, где был наш выселок, заезжаем. Там сейчас хлеб растёт.

* * *

Наталья Константиновна Травкина отошла в 1985 году. Но после войны родила девочку. Пятого ребёнка нарекли Верочкой. Вера Иосифовна окончила Курский медицинский институт, замуж вышла тоже за врача – Анатолия Григорьевича Степанова. Сейчас Вера Иосифовна работает во Второй поликлинике города Старый Оскол; Анатолий Григорьевич – заведующий наркологической поликлиники. В их семье родилась девочка – Леночка. Она уже выросла и тоже избрала себе самую мирную профессию на земле, работает врачом в железнодорожной больнице. Появился на свет и правнук Натальи Константиновны – Андрейка...

И всё же!

И всё же: как ни пытался враг вырвать корень Земли Русской, а побеги от него золотые пошли. Да и как изведёшь его, наш род, если у него есть такие святые матери, как Наталья Константиновна Травкина, способные своим титаническим мужеством вынести неимоверные тяготы самой лютой години, чтобы дать бесценное потомство, заложив целительные гены в будущее родного Отечества.

Ион ПРОКА

*Перевод с румынского языка Петру Ротару**Продолжение. Начало в №6, 7.*

Сосланные

7

Инокентие Пасреле, как только прослышал о предстоящей коллективизации, не стал терять драгоценное время. Немедля пошел в сарай, взял коня под уздцы и направился в сторону дубравы, пробираясь рощами и запутывая следы. И все поговаривал коню: «Нет, я ни за что не отдам тебя им, даже мертвого. Я тебя вырастил, я тебя вскормил, ты всегда был мне опорой и в горе, и в радости...»

И пустился Пасреле в бега все по долинам да по рощам. Так он проскакал до осени, пока в лесу не поредела листва. Но как водится: бежишь от дьявола и попадаешь в лапы его отца. Случилось это у источника в вязовой роще. Он только-только обложил свои пятки листьями подорожника, чтобы утихомирить боль от потертостей сапог, и прилег погреться под лучами скудного солнца. Его стреноженная лошадь мирно паслась поблизости. Но вдруг она забеспокоилась, зафыркала, встала на дыбы и протяжно заржала. Это был сигнал, которого Пасреле не понимал или не хотел понимать. Ему осточертела такая жизнь, рассеялись все молодецкие планы. И теперь он отдал бы все, лишь бы вновь насладиться домашним уютом, лечь на лавке, подняв кулак под голову, и окунуться в спокойный домашний сон. Его сон в бегах был тревожным и беспокойным. То его пугала гадюка, то его будили совы, то его мучили адские сновидения, от чего он просыпался в холодном поту. Относительно спокойно спал в заброшенных чабанских землянках, но не мог подолгу в них оставаться, так как в любой момент могли явиться хозяева, и тогда он бы выдал свое существование. Подумывал он и о том, чтобы сдать. На кой черт ему такая жизнь? Поработал бы он и в колхозе наряду с остальными, может быть, ему бы дали хорошую работу, так как знаний у него пруд пруди, на все село хватит. А может, отправили бы и его в ссылку. Но как будто та возня уже прошла. Времена стали проясняться.

Охваченный думками, он и не заметил, как перед ним выросли, словно свалившись с неба, два здоровяка, которые вмиг скрутили ему руки. Обоим понравились его сапоги. Они по очереди стали их примерять. Одному из них они оказались впору. Этот протянул Пасреле свои грязные портянки и дырявые лапти. Пасреле с отвращением посмотрел на них, подальше от себя откинув подачку грабителя.

По пути к логову воровской шайки никто не обронил ни слова. Бодя заметил их сзади и стал отчитывать своих:

– Придурки, на что нам сдался этот проходимец? Нам что, лишние рты понадобились? Или осведомителей мало?

– Так ведь мы его, атаман, из-за коня задержали. Погляди, какой откормленный жеребец. Будет гонять наших кобыл, и они народят нам новых жеребчиков. Жеребцы подрастут, а старых лошадей забьем на мясо и на паstrому.

– Ой, ой, жеребцы еще не зачаты, а вы им уже и уздечки приготовили. Ну и тупые же вы, однако, слов нет. Пусть явится ворон!

Из кустов, наигрывая что-то веселое на своей скрипке, выныривает черноглазый цыган, который низко кланяется Бодя.

– Эй ты, чертово отродье, ну-ка собери своих черномазых и заиграйте марш вновь прибывшему, так как пришел он к нам служить кавалеристом, да еще и со своим конем.

«Ворон» прошелся разок смычком по струнам, и тотчас на поляну вывалило все цыганье: кто с волейкой, кто с барабаном, кто с трубой. И заиграли они марш, затем сырбу булгэряску и джеампарале (*цыганский танец).

Пасреле от удивления аж рот разинул. Трудно было поверить в то, что ему играет знаменитая на всю округу банда Никандра Аржинта, играет без денег. В иную пору, когда он был парубком, без тысячи леев в кармане к ним нельзя было и подступиться. Кто знает, еще не поздно затребовать от него плату, притом большую, чем при других обстоятельствах. А что он может им предложить? Но чем лишиться коня, лучше лишиться жизни, ведь ради него он стал единоличником, то есть индивидуальным крестьянином. Тем временем лэутары все круче и круче заводят свою музыку и подмигивают ему в сторону женщины с волосами цвета спелых колосьев. Сам черт не разберет задуманную бандитами игру. Бодя, развалившись на боку, изнывает от удовольствия. Баба со светлыми волосами цвета спелых колосьев тянет его за рукав. Бодя больно пинает ее по ноге.

– Пойди, потанцуй с новеньким. Узнай его имя и все остальное, я очень устал, что постоянно должен думать и за вас, и за советскую власть.

Женщина со светлыми волосами цвета спелых колосьев послушно направляется к Пасреле. Видно, оби-

жена, но делать нечего, так как несдобровать тому, кто осмелится перчить Боду.

Пленник отказывается танцевать. Как это пуститься в пляс, когда вся поляна в одних колючках, а его ноги обвязаны листьями подорожника, как бы объясняется он глазами перед женщиной. На что она, прекрасно понимая, в каком он состоянии, тихо шепчет ему на ухо:

- Подчинись, баде, как бы чего хуже не вышло.
- Ох, дорогуша, куда уж хуже, когда все худо.
- Что ты хочешь этим сказать? – допытывается у него красивая женщина.

– Пасреле меня зовут, Инокентие Пасреле. Я из Мовилень. Я воспротивился податься в колхоз вместе с сельчанами. Хотя жена была готова даже корыто отдать колхозу, лишь бы от нее отстали. Сейчас, дорогуша, вижу, влип по самые уши. Убежал от Танды и попал к Манде (*молд. фольклорные персонажи). Как думаешь, меня прикончат?

– Не знаю. Если ты и впрямь из Мовилень, можешь быть полезным нашему атаману. Но запомни, он не любит предателей. Оступишься хоть на шаг, из-под земли достанет. Может, слышал, как поступил с одним из Крузяска?

- Слышал. Сожгли ему хату вместе с немощными родителями, детьми и женой.
- Да, по кличке Мэтурию. Его истинного имени так и не знаем.
- Харламб Зидару. Так его звали. Да, от судьбы не уйдешь.

– И подумать только, за что? Надумал он завязать с бандой и податься по доброй воле в колхоз. Но он мог в один прекрасный день нас сдать. Поэтому его и ликвидировали.

Инокентие вздрагивает. Хотя и продолжает танцевать, чувствует, как затрясся подбородок. Его ноги в крови. Похож на распятого на кресте. Даже не знает, стоит ли продолжать разговор или помолчать. Но все-таки набирается смелости и спрашивает, причастна ли она к страшной смерти тех десятых невинных душ из Крузяска.

– Ты меня обидел своим вопросом. Посмотри на меня. Могу ли я быть убийцей? Да, на моей совести смерть одной женщины, но она заслуживала того. Она сама угробила в себе все человеческое. А здесь меня держат взаперти, как птицу в клетке, которой разрешают петь только раз в году. Приходится терпеть. Жду не дожусь своего часа мести.

- Что бы ни случилось, я приму твою сторону.

– Уймись, а то совсем худо тебе будет. Советую тебе подчиниться и слушаться атамана. Если не в состоянии выполнить приказ, откажись, но обещаний не давай. Невыполненное обещание смерти подобно.

- Постой, женщина, музыка давно стихла, а мы все танцуем.

- Я перекинулась парой слов с умным человеком и сразу на душе полегчало. Не забудь, что я тебе сказала.

Женщина со светлыми волосами цвета спелых колосьев направилась в сторону Боди. Приблизившись к нему, лежащему на меховой телогрейке, она прилегла рядом на траве.

- Давай рассказывай, что узнала.

– Не шпион он. Находится в бегах, так как не захотел расстаться со своим любимым конем ради колхозного строя.

– Очень похвальное чувство любовь к животным. Помнишь «Эль-Зораба» Кошбука? Я это стихотворение знаю наизусть со второго или третьего класса. Да, Кошбук, несомненно, великий поэт (* стихотворение «Эль-Зораб» написано румынским поэтом Дж. Кошбуком). Помнишь? Звучит примерно так:

*Арабы смотрят на коня,
Такой красоты век не видать,
Ох, как красив, ох, как пригож,
Мне дорог он сильнее глаз,
Его отдать – скорее смерть...*

– А дальше еще чувственнее, – твердит ему вслед с оживлением женщина со светлыми волосами цвета спелых колосьев, – красивее и трагичнее:

*Но хлеба деткам не сыскать,
От голода они помрут,
От горечи такой в жене
Иссяк источник молока,
Как не продать коня?*

– Трагедия, – на ходу подхватывает нить повествования Бодя, – разворачивается позднее, когда коня все-таки продали за тысячу цекинов. Бедуин кается, что продал друга, которого не пощадят ни в зной, ни в стужу или поведут на войну, и просит коня обратно. Паша, конечно, и слышать ничего не хочет. И тогда араб решается на самое страшное:

*Он вынимает свой кинжал,
И алой кровью вмиг покрыт
У шеи бедный конь.*

Взмотнув он гордой головой,

Навзничь упал, сражен...

– Чувствует мое сердце, Инокентие Пасреле готов повторить поступок бедуина, – говорит женщина.

– Ты сказала Пасреле?

– Да, Инокентие Пасреле, я не оговорила.

– Точно?

– Он сам так назвался.

– Отлично.

– Ты с ним знаком, атаман?

– Мало сказано. Мы ели из одной тарелки.

– Позвать его?

– Позови!

* * *

Мужчина с окровавленными ногами едва двигается. Он ошеломлен при виде Боди. И бандит тоже вздрагивает, заводя первым разговор.

– Не узнаешь, почтенный Инокентие?

– Нет, не хочу тебя знать.

– Что, стыдишься пообщаться с бандитом?

– Страшно как стыжусь.

– А шататься, как вышедший из ума, с конем под узды по лесам не стыдишься?

– Эх, Григоре, Григоре, для меня ты остался тем, кто водил меня по яским улицам и по литературным кружкам, бесконечно читая мне стихи Кошбука.

– Да, я тот же. Только что зачитал этой женщине стихи из прекрасной поэмы «Эль-Зораб». Не ожидал от тебя, что окажешься таким неподатливым. Почему бросил факультет? А как же, тебе захотелось стать крестьянином, чтобы от тебя несло кизяком да овечьей брынзой. Если бы продолжил тогда учебу, то был бы сегодня и с конем, и с фаэтоном.

– Лучше быть крестьянином, чем бандитом.

– Это твоё мнение. Но знай, я подался в бандиты после того памятного дня – 13 июня 40-го года, когда был беспощадно истреблен весь интеллектуальный цвет Кишинэу (*рус. Кишинев). Будучи высокообразованными людьми, они бы могли пригодиться их бесчеловечному социализму. Ан нет, загребли их за одну ночь. Они исчезли, как будто провалились под землю. Тогда я дал себе слово, что отомщу за них.

– А если ты такой образованный, почему не сеешь добро в искалеченных таким социализмом душах людей, а травешь их друг против друга? Зачем поджиг дом Мэтуроя? На твоей совести десять невинных душ.

– Десять – это мало. Завтрашняя бойня станет самым красивым зрелищем, которое можно только придумать. Все крестьяне, добровольно вступившие в колхоз, будут расстреляны. И ты будешь участником этой кары. Я научу тебя, как на практике следует исполнять смертный приговор.

– Не дожدهшься!

– Отниму коня.

– Отнимай.

– Лишу тебя жизни.

– Моя жизнь, можно сказать, не стоит и трепаной монетки после того, как я увидел, что с тобою стало. Я тебя боготворил, когда ты зачитывал наизусть Теодоряну (*румынский прозаик). Помнишь, как красиво начиналось одно из его писем: «Твои родители не видят в Меделень ничего, кроме смерти бедняжки Ольгуцы. Это естественно. Но ты обязана иначе взглянуть на вещи, более трезво оценить их. Это касательно продажи поместья твоих родителей, которое после тебя отойдет наследникам.

Деньги – это пыль, если знаешь, как их зарабатывать. Они безо всякого значения. А землю сохрани. Я ее не рассматриваю в качестве солидного материала, в наши дни тем более. Это конкретный аргумент в пользу сохранения нашего рода. Люди без земли, словно сироты без матери. Это подтвердит тебе любой крестьянин. Евреи, которые покупают землю, не рассматривают ее в качестве денежного выражения, а как первостепенное условие стабильности для их потомков.

Дите, которое продает доставшуюся ему по наследству от предков землю, осиротеет.

Чувство собственности делает тебя по-настоящему гражданином твоей страны. Это чувство даже сильнее разговорного или письменного языка. Ты обладаешь куском своей родины, частицей карты твоей страны, которая принадлежит только тебе. Городскому жителю неведомо это чувство. Для него любовь к своей стране – это интеллектуальный синтез, основанный на эффекте; для собственника – это конкретный факт...»

– Закончил?

– Нет, можно продолжить.

– Видишь, какие светлые мысли вбивал я тебе в голову. Как сохранить в себе чувство собственности,

если тебя лишают этой земли, если у тебя отбирают любимого коня?

– Не перечь себе, Григоре. Ты был самым горячим спорщиком на лекциях по политэкономике профессора Думитру Стуческу. Ты приводил цитаты из «Капитала» Маркса. Ты мечтал о коллективном труде, о ликвидации эксплуататорского класса. А теперь хочешь этих раскрепощенных перебить? Опомнись! Куда скатываешься?

– У меня своя дорога, Инокентие. И я неуклонно иду к цели. Ты меня не переубедишь в обратном. Что там говорит Теодоряну: «Люди, лишённые земли, подобны сиротам». А что сулят нам большевики?

Ты почему от них откололся, почему не остался с ними заодно пропагандировать эти идеи? Слышишь, ему жаль коня? Да если бы ты вышел на трибуну и высказал бы то, что говорил мне, тебе бы не только оставили коня, но и дали бы какой-нибудь пост красного комиссара. У них это запросто. А у кого хороший пост, тот разъезжает на бричке. Ему могут и маленький автомобильчик выделить. Помню, будучи еще мальчуганом, бабушка взяла меня с собой в левобережную Маловату. В этой Маловате, что на советской стороне Днестра, колхозы существовали с конца 30-х годов. И крестьян по утрам отправляли на работу под музыку фанфары. Но как только те скрывались с глаз за гребнем холма, музыка умолкала. Хотя я был маленьким, но прекрасно понимал, что это чистой воды пропаганда. Посмотрите, как хорошо живут молдаване в социалистическом лагере, а вы как были нищими, так нищими и остались. Вот и говорю тебе, дорогой Инокентие, если тебе по нутру их коллектив, так можешь к ним присоединиться, тебя также будут провожать на работу с музыкой, да только не чета та музыка музыке моих лэутаров. А с поля ты будешь возвращаться на карачках, ибо не дадут тебе после обеда отдохнуть в тенечке для того, чтобы, набравшись сил, поработать под вечер в прохладе, как работал ты на своем поле.

– Да, брат Григорие, только сейчас понимаю, что все твои идеалы студенческих времен гроша ломаного не стоят. Даже не знаю, как тебя тогда взяли в «Железную гвардию» (*румынская фашистская организация во время Второй мировой войны) с твоими проклятыми легионерами? Зачитывался Кошбуком, а мысли твои были схожи с высказываниями Муссолини. Ты даже старался походить на великого Дуче. Из-за любви к нему, помню, стал изучать итальянский без учителя. Добился хороших успехов и уже видел себя в каком-то римском юридическом учреждении.

– Ты глубоко ошибаешься, дорогой Инокентие. Я никогда не разделял идей Муссолини. У меня была своя голова на плечах, чтобы разобраться, что к чему. Я изучал международное право, и я должен был знать, что ожидает нас в будущем. А фашизм был рожден безмозглыми фанатами.

– Хотя убей, не пойму, когда ты являешься одухотворенным парнем, которого знал в студенчестве и которому не были чужды такие высокие чувства, как честность, принципиальность и добродетель, а когда обличаешься в фашистскую шкуру. Убиваешь всех и вся фашистскими методами. Сжигаешь людей на костре, как во времена инквизиции. Грабишь почище власовских бандитов. Опустился до такой степени, что держишь при себе в заложницах баб. И не каких-либо, а манерных...

– Считаю нашу сегодняшнюю дискуссию несостоявшейся. Я тебе предложил присутствовать на расстреле предателей, а не убивать самому.

– Это как прикажешь понимать? Если мои или твои родители подадутся в колхоз, то их следует записать в предатели и убивать без суда и следствия? Люди мы или каннибалы?

– И глазом не моргнул бы. Расстрелял бы на месте. Но мои родители померли раньше времени, так и не дождались увидеть меня адвокатом. Однако судьей я стал и буду судить беспощадно.

* * *

Не знаю, чем закончилась та беседа между двумя некогда закадычными друзьями одного факультета, но на второй день Инокентие Пасреле уже не было в живых. Сперва его избили до смерти, а потом повесили на Райской поляне. Так окрестил Бодя место экзекуций...

Жителям Мовилень предстояло дни и ночи напролет оплакивать членов тех четырнадцати семей, подавших заявления о вступлении в колхоз. Не пощадили даже грудных детей. Бандиты, переодетые в милиционную форму, глубокой ночью ворвались в их дома и вонзили свои ножи в мертвецов. Потому как изверги еще с вечера заглушили им дымоходы, чтобы они задохнулись. Только после этого взломали двери.

Такова была трагедия. Похороны должны были состояться через три дня. На траурную церемонию приехал сам Гынжу, первый секретарь районного комитета партии. Он выступил с речью и заверил, что убийцы будут непременно найдены и наказаны по всей строгости закона. И неведомо ему было, что бандитов не надо нигде искать, они среди сельчан и нагло смотрят им в глаза. Они же играли и похоронный марш. Вчерашние милиционеры – сегодняшние музыканты, убийцы из банды Боди. Это же додуматься надо убивать с такой жестокостью. Мало того, что лишили людей жизни, так еще и поиздеваться над мертвыми вздумали.

Анафема, анафема, анафема.

вом, она, как была ссылкой, так и осталась.

Дед Дан Мыслу очутился с шепелявым почтальоном у ворот, который не то весело, не то грустно общил:

– Вам письмо из Сибири. Из Иркутска. От родственников. Но не от Думитру. На конверте указан адрес Иона Черчелару из Крузяска, тот, что держал землю в Сэрдэрень.

Дед Дан кашлянул в кулак:

– И с каких пор, Гаврил, ты стал открывать и читать чужие письма? Даже при буржуазном строе это строго возбранялось.

– А вы в политику не лезьте, потому как теперь все письма из Сибири расклеены и прочитаны. Враги народа, ничего не попишешь. Понятно?

– Гаврил, а Гаврил! Лучше бы твоя мать родила бы тебя плациндой и тебя бы съели навозные черви. Почему ты считаешь моего Думитру врагом народа? Потому что он заступился за людей?

– Не знаю, дед Дан. Ей богу, ничего не знаю. Я госслужащий, работаю на почте, мне запрещено заниматься какой-либо пропагандой. Для вас лучше не ввязываться со мной в такие разговоры.

– Пусть леший с тобой разговаривает, бестия ты этакая! Госслужащий, почтовый агент... Подлюга вонючая, вот ты кто!

Гаврил зашагал себе дальше вдоль улицы, гордый собой до изнеможения, что поставил на место старика. Но в то же время подумал, тут что-то не так. С чего это он вдруг выразился насчет плацинды, которую бы съели навозные черви. Может быть, дед дал ему понять, что он для него не более чем коровий кизяк посреди дороги?

В это время дед Дан Мыслу, распечатав конверт, тщетно пытался прочесть письмо. Но это оказалось ему не под силу. Письмо было на русском. Вспомнил, что дед Онофрей Граур знает русский язык, выучился русской грамоте еще в первую мировую.

Вставил в калитку палку в знак того, что никого нет дома, и по-стариковски направился к деду Онофрею. Тот был занят по хозяйству.

– Добрый день, бадя Онофрей!

– День добрый, Дан. Чего ходишь с этой бумагой, как турок с жалобой к своему султану?

– Вот, получил весточку от сына, но прочесть не могу, так как написано в ней по-российски. Вспомнил, ты язык понимаешь.

– Да и ты, помнится, изучал старославянский.

– Видишь ли, не очень-то схож мой старославянский с этим новым российским языком. И кириллица какая-то другая, да и написано от руки химическим карандашом, меня, как знаешь, зрение подводит.

– Давай сюда.

Дед Онофрей повернул письмо сперва в одну сторону, потом в обратную, прищурил свои, еще живые для этого возраста, глаза и стал читать шепотом, не дай бог, услышат плохие люди и отнимут его у него.

«Горячий привет из Сибири! Здравствуй, дед Дан! Спешу сообщить, что пишет вам Ион Черчелару из Крузяска. Не удивляйтесь, что пишу по-русски. Так наказали нас писать местные товарищи, дабы знать, какую чушь несем родственникам. Также сообщаю, дед Дан, что с божьей помощью добрались мы до Иркутска, то есть чуть дальше Иркутска, до станции под названием Бурелом. Здесь нет сел, как у нас. Одни леса, сколько глазу видать. Тут раньше был золотой прииск, но золото было исчерпано, и все отсюда поужезжали. Мы заняты на лесоповале. Морозно, конечно, но потихоньку привыкаем.

Я долго не хотел вам писать, да уговорил меня Троян Поткоавэ. Он сказал, что вам лучше знать правду. А правда такова, что потерялся ваш сын Думитру. Может, кто его сбросил с поезда или что другое, никто не знает. Неизвестно, жив он или мертв, но сердце подсказывает мне, что его нет в живых. Его Илинка до места назначения была с нами, но ее отправили дальше по этапу с другими женщинами. О Думитру она ничего не слышала.

Да, чуть не забыл. Он исчез километров за триста от Москвы на станции Вавиловская.

На этом заканчиваю свое письмо. Низкий поклон всем знакомым.

Ион Черчелару и другие нашенские.

20 ноября 1949 г.».

И ниже: «станция Бурелом Иркутская область».

– Этот Черчелару пишет, что Думитру исчез за триста километров от Москвы. Значит, в Москве я должен сойти с поезда и начать поиски, может, до этого Бурелома удастся найти какой-нибудь след. Теперь ты понимаешь, что обязан поднатаскать меня по русскому языку и как можно быстрее.

– Я научу тебя самым востребованным словам, а остальное выучишь по пути.

Теперь районный уполномоченный Агеев сидел только в кабинете Туфэникэ. Справа бутылка с вином, слева – сало и брынза. Был чересчур болтлив, изо всех сил желая поймать шпиона или хотя бы врага на-

рода. А этим врагом должен быть никто иной, как Дан Мыслу.

Агеев мстил, Агеев кипел.

– Каналья, ты должен знать, кто направил по стопам Думитру Мыслу его отца, деда Дана. Кто написал от его имени письмо и отправил его самому генералиссимусу? Может, ты? Хочешь откупиться салом да брынзой? Не пройдет! Вот, что пишут мне из столицы, из НКВД: «Узнайте, кто такой Дан Мыслу и какой мандат он получил от Сталина». Я тебе передаю только смысл письма, дабы ты не растрезвонил по всему селу это известие. Ты только представь себе, Туфэникэ, как он разъезжает по великой России в поисках сына по мандату Сталина.

Туфэникэ тушит сигарку о голенище сапога и смеется, держась за живот.

– Ха-ха-ха! Как красиво наколол вас дед. Да нет у него никакого мандата. У него на руках лишь клочок бумаги, где черным по белому написано: «Ваше письмо на имя Генералиссимуса Сталина отклонено. Ваш сын Дмитрий Мыслов амнистии не подлежит». И следует неразборчивая подпись, похожая по созвучию на что-то горькое.

– Подписано самим Берией, турок! Лучше бы я тебя убил с самого начала. Говорил же я тебе, что ты заодно с ними?!

– Остынь, Иван Петрович, письмо мне показал Гаврил.

– Кто такой Гаврил?

– Большой человек, государственный служащий. Почтальон Гаврил. Он сказал, что наступила свобода. Все письма прочитываются в центре.

– Туфэникэ, твою бога мать, государственные письма, письма от Сталина, это тебе не какие-то любовные записки, чтобы читал их твой Гаврил. Вбей себе это в голову и приведи его немедленно ко мне, чтобы я его проучил за это раз и навсегда. Вот так вы и подрываете советскую власть.

Как поступил Иван Петрович с Гаврилой, об этом история умалчивает, но на второй день почтовый агент сдал сумку и отправился с вилами работать на колхозную ферму.

10

Дед Дан Мыслу проехал Москву, и теперь по шпалам держал путь на Сибирь, все расспрашивая от станции к станции то одного, то другого, не встречался ли им заблудившийся в этих краях молдаванин. Люди пожимали плечами, отвечая, что впервые слышат о существовании такой нации или слышали только о молдавских цыганах.

– Да, живут в Молдове цыгане, но мой сын молдаванин и был председателем сельсовета.

И встретился Дану Мыслу человек со множеством орденов и медалей на груди, который, услышав о Молдове (* рус. Молдавия), бросился его обнимать, ругая коллегу, который потребовал у старика паспорт.

– Кузьмич, да как ты смеешь? Этот человек из Молдавии, которую я прошел с тяжелыми боями и где схоронил своего брата Гену.

Выслушав рассказ деда о поиске сына, начальник станции радостно предложил:

– А давайте переночуете у меня.

Дед Дан попробовал отказаться под предлогом того, что хочет до вечера добраться до следующей станции.

– Не беспокойтесь, завтра отвезу вас туда на санях.

– На санях мне нельзя, поездом тоже. Я должен идти пешком, только таким образом смогу разыскать сына.

– Воля ваша. Пойдем пешком, но только завтра.

На второй день добрались к следующей станции на санях, сперва по еловому лесу, после чего пошел кедр, пока не добрались до маленькой деревушки, которая насчитывала аж семь деревянных домиков.

Дома добротно срублены, с красивыми узорами вокруг окон, но без заборов. Только какое-то подобие ограждения из бревен. В сенях одного из домов их встретила радушная хозяйка дома, светловолосая женщина, красивая, словно икона божьей матери, какие приносили на продажу иконописцы в Мовилень. Ох, как искусны были эти иконописцы и липован.

Ксюша, так звали хозяйку, гостеприимно распахнула перед ними дверь:

– Добро пожаловать в наш дом!

На это Дан Мыслу даже не знал, что ответить, настолько скуден был его запас русских слов.

Не успел дед помыть руки и повесить на крючок одежду, как стол уже был накрыт. На столе копченое и жареное мясо. А мучные изделия – одно загляденье. Пухлые и сладкие, они прямо таяли во рту. Ешь не наешься.

За разговором засиделись до позднего вечера. Когда не хватало слов, прибегали к жестам.

К первому крику петухов гостя уложили спать в тепле у печки. Во сне дед беспокойно метался, как будто боролся с кем-то. Приснилось ему, что Туфэникэ распяливает Иисуса и бьет его, Дана Мыслу, кнутом, чтобы тот потащил крест на себе. Христос советовал ему подчиниться. Даже если отказаться, крест все равно по-

несет другой. Вконец Туфэникэ толкнул Дана Мыслу в пропасть. А крест завис на скале, подобно летучей мыши, прилипшей к сводам пещеры. С другой стороны пропасти на него взирали страшные гиены, готовые растерзать его. Но и они, как он почему-то не двигался, повисли в пространстве.

Разбудил его шум проходящего состава. Он так и не успел рассказать хозяевам свой сон. Путьобходчик Герасим провел его до следующей будки путевого сторожа.

И тут произошло настоящее чудо. Нос в нос он столкнулся с мужчиной, который носил каракулевую шапку и боярский кафтан, как в недалеком прошлом придворные при молдавских правителях.

Дед Дан, внимательно осмотрев его, спросил:

– Послушай, мил человек, ты случайно не молдаванин? Так как одежда на тебе нашенская.

Мужчина отступил на два шага назад и удивленно воскликнул:

– Откуда ты, дед, взялся в нашем пустынном захолустье? Да и одет, как будто на дворе лето в разгаре.

Схвати вас мороз, и пиши пропало.

– Ничто меня не прошибет, даже мороз не помешает мне отыскать сына.

– А что в Молдове туго с работой?

– Работы и дома предостаточно, да несчастье позвало в дорогу.

– Дождались бы весны, чтобы пуститься в поиски.

– Мертвый на лавке и заботы человека – вот что заставляет побегать.

– А у вас что? Кто-то помер?

– Да, был у меня сын. Сослали его в Сибирь!

– Как, депортировали?

– Приехали поздней ночью, затащили в крытый брезентом грузовик и с концами, как в воду канул.

– Только его одного?

– Нет, мил человек, в ту грозную ночь депортировали целые села. Раскулачили, как говорится.

– Меня зовут Антон Пэнуцэ, я из молдаван времен воеводы Кантемира. Вместе с ним переметнулись в эти края наши предки. По доброй воле. Чтобы получить землю, много земли. И, слава богу, живем неплохо. И нас обзывали кулаками, но не тронули. Мой род ведет свои корни от какого-то гетмана по имени Ион Некулче. Слышал, он обладал большой грамотой. Им написано несколько книг. Но я их не видел и не читал.

– Приблизительно с какого времени вы тут обитаете?

– С 1700-х годов, где-то так.

– И сохранили свой язык, обычаи, одежду?

– Как видишь, сохранили. А праздники мы справляем как по старому, так и по новому стилю. Кстати, сегодня Рождество Христово.

– Не знал. Я потерял счет дням. Даже посоха, на котором мог бы делать отметки по дням и часам, и того нету. Я шагаю с ноября месяца, а конца дороги еще не видеть.

– Да, большая страна. Куда уж больше?

– Так я, мил человек, пойду себе.

– Куда вы хотите идти по этой метели? Оставайтесь пока у нас. Вот и мои пришли в гости, гостинцы принесли. Чутьочку согреете себе кости.

– Но у меня и так времени в обрез. Смог бы, шел бы и ночью.

– Ничего, мил человек, вспомните, что вечером Рождество на станции водопад.

– Будь по-твоему, остаюсь.

В каптерке их встретила юркая маленького роста женщина, которая была хороша собой, и мальчик лет одиннадцати.

– С Рождеством Христовым, добрые люди, – приветствовал их Дан Мыслу.

– Благодарствуем. Вас также с праздником! Милости просим в наш дворец.

– Дорогая Савета, к нам гость из самой Молдовы, нашей маленькой родины ни разу не видели. Сообрази что-нибудь на стол.

– Стол уже накрыт. Чуть остыло жаркое, но сейчас согрею на буржуйке.

– Жenuшка, а что-нибудь покрепче найдется?

– Конечно, имеется, но не для тебя. Ты на службе.

– Только капельку.

– Эх, как хочется попробовать хваленое молдавское вино, о котором нам рассказывал дед Пинтилий!

– Вот этот человек, Дан Мыслу его зовут, сбегал от вина в поисках снега. Ты слушаем не слышала про затерявшегося в наших краях молдаванина?

– Приезжал к нам один, кажется, в тридцать седьмом. Фольклор собирал, старые песни записывал.

– Это тот, который записал твою колядку и очень ее расхваливал. Говорил, она – целое сокровище.

Дан Мыслу, сидевший поодаль, аж подскочил.

– Люди добрые, да я вас даже не покалядовал.

– Что, на голодный желудок?

- Именно так и колядуют. (Обращается к мальчику.)
- Тебя как зовут?
- Савели, как и мою маму.
- Маму твою зовут Савета.
- А это почти одно и то же.
- Почти прав.
- Я всегда прав. А как зовут вашу маму?
- Тоже Савета. То есть Елизаветой звали.
- Сейчас ее так не зовут?
- Сейчас ее никак не зовут, потому как нет ее.
- А где она?
- Умерла.
- Что значит умерла?
- Это когда человек уходит из жизни и не возвращается обратно. Отовсюду можно вернуться, а вот с того света еще никто не возвращался.
- Савели, – встревает мама, – оставь гостя в покое, не видишь, он уставший с дороги, голодный, может, испытывает жажду.
- Я не сяду за стол, пока не поколядую.
- Просим, просим!

Дед Дан поправляет голос и начинает медленно и красиво колядовать, как будто он у себя дома в Мовилень. А там, за окном собралась вся родня: мама с папой, братья с сестрами, родичи, приехавшие из Облониште и Грынгулень, Фурчень и Фэгурень. А он колядует под окном. И тетя Диспина, что с золотыми бусами, снимает с цепочки одну бусину и дает колядующему, чтобы он купил себе пару быков, конечно, когда вырастет большим, дабы было на чем пахать. А если поторговаться, то и на телушку хватит.

В Кондрэтешь большая ярмарка, продавцов и покупателей тьма-тьмушая. Живности – на выбор, на любой вкус, и послабее, и посильнее. Телеги, фаэтоны – хоть отбавляй. Но как только затерялся в толпе, ему приглянулся сработанный на славу фаэтон с большими, обшитыми кожей сиденьями. Одним словом – загляденье. Нащупал кошелек. Вроде на месте. За двадцать золотых бусинок-денежек, сколько у него было, можно было купить пять фаэтонов. Быков он себе вырастит, если приобретет телочку. А коней на рынке – пруд пруди: и арабские, и донские. Ему в хозяйстве нужны лошадки рабочей породы, тягловые. Но сперва поторгует с продавцом фаэтона.

- За такую цену не возьму. Слишком дорого. Шесть золотых бусинок-денежек и ни копейки больше.
- За шесть твоих денежек, будь они и золотыми, купишь себе разве что дряхлую телегу. Я же тебе предлагаю сработанный монополлом фаэтон.

Дан отдал восемь золотых бусинок и купил фаэтон. Когда дошла очередь покупать лошадей, денежек почти не осталось. Все-таки подобрал себе пару. А когда расплачивался, продавец, засомневавшийся в качестве предложенного выкупа, вздумал попробовать денежку-бусинку на зуб и вдруг заорал на весь базар:

- Держите вора! Фальсификация денег! Держите его!

Вокруг него разом собрались все ротозеи. Подходит продавец фаэтона и начинает его колотить. С другой стороны его дубасил продавец лошадей. К ним присоединяются пройдохи с ярмарки. Его счастье, что подбежал жандарм. Из жандармерии его отвели в трибунал, а там и военно-полевой суд. Чуть не засадили, как жулика.

Откуда ему было знать, что ожерелье тетушки Диспины из фальсифицированных золотых денежек-бусинок.

Вспомнив про этот случай, он почти потерял желание колядовать. Но давши слово – держи!

*«Надумал я для себя съездить в Бетлеем
И посетил я пещеру своего повелителя,
И увидел я там Иисуса Христа,
Который к нам с небес спустился,
Наш Создатель, наш Спаситель.
И лежал он в яслях, как последний нищий.
Он кем был: Царем и Богом.
Выбрал ясли, а не дворец,
Чтоб появиться на свет
Среди животных, ягнят, овец
Все терпения – ради нас.
Горькими слезами ясли орошал,
Умным своим взглядом
Нас он озарял.*

Иосиф и Мария любовались им,
 Хоть заплакан вовсе маленький Христос,
 Божьими слезами заплакал и я,
 Жаль до изнеможенья было за Христа.
 И тогда я мать божью попытал:
 – Что не уймется маленький наш Принц?
 И Богородица тогда мне отвечает:
 За Адама и Еву, что в аду, страдает.
 Плачет он, что люди, адамова родня,
 В рабстве жизнь проводят в логове Беса.
 Плачет он, что народ свой служит всем и вся,
 А от божьей службы млад и стар бегут,
 Недопонимая, что отворачиваются от Святого Духа.
 Вскорь Господь вернется и грозно тех накажет,
 Кто имя Бога в грязи затоптал,
 Вот только спустится к нам на землю...

Низкий поклон хозяевам. Рождество встречали песнями и плясками».

– Красивая колядка, – говорит Совета и протягивает деду Дану золотую денежку. – Видите, денежка настоящая.

Раз обжегшись, пробует денежку на зуб.

– Не бойсь, дед Дан, это чистое золото. Подумала, оно вам пригодится в поисках сына, так как сын дороже всего золота мира.

– Премного благодарен, дорогая Совета, но не возьму. Не везет мне на золото, как только заимею его в кармане, все начинают меня бить.

– Оставьте золото себе. Я его дарю от всего сердца. И пока нагреется еда, давайте я вас поколядную.

Накануне Рождества колядуем лучшего
 Нежною колядой Рождества Христова.
 Небесами возданный, чтобы нас спасти,
 От большой любви к нам преступил порог небесный,
 Расстался с раем небесным и на грешную землю вступил,
 И на плечи все наши грехи взвалил.
 Поэтому, когда к нам приходит,
 Никто в мире его не принимает.
 Вот так из врат во врата
 Святая Мария сына в животе несла,
 Ища все местечко для драгоценного птенца,
 Местечко и колыбель для драгоценного ангела.
 Хочет родить сына в светлом чистом месте,
 Ибо Царь Небесный он для всех и вся.
 Божья мать тревожится, чтоб родить в тепле
 Нежного сыночка, которого ждут все.
 Но врат ей никто не открывает,
 И крышу теплую для сына никак ей не найти.
 Ночь на землю спускается,
 И мороз пробирает Марию до самых костей,
 Никак в тепле под крышей не приютиться ей.
 Ветер холодный ее донимает,
 Душу насквозь ей пронзает.
 Ветер бьет ей в лицо милое,
 Святой Иосиф заодно с ней плачет.
 Ее добрая душа от этого сокрушается,
 Ангелы, ей вторя, тают от плача.
 Они к Небесному Отцу обращаются,
 О помощи молят для бедной матери.
 И Святой Отец смилостивился,
 Пещеру определил для рождения
 Того, который начала не ведает.
 И когда на свет привела его мать родная,
 Ангелы были при ней, напевая.

*Запеленав сына своего в пеленки влажные,
Влажными были глаза ее, Божьей Матери,
За то, что вытерпела она, невинная,
Ради нашего спасения рожденная.
Так давай крепко полюбим обоих
Спасителей наших,
Чтобы встретиться с ними на небесах,
Воссоединившись с ними навечно, навсегда.
Аминь!*

*Поколядовали бы мы еще долго,
Народу, который услышит нас, было бы много,
И нам от этого жить в добре,
Чтоб на будущий год
Вас поколядовать.
Мы всем тем, кто к нам пришли,
Хорошую весть принесли.
Весть, богом посланную с небес,
Сегодня родился Иисус.
И мы не пришли получать,
А чтобы поколядовать.
Добрые люди и хозяева хорошие,
Мы вас всех поздравляем,
Красивого Рождества желаем,
Рождества Христова в мире и в добре,
Пусть сопутствует нам любовь везде.*

– Это – вся коляда, – сказала по окончании Совета. А теперь давайте-ка к столу, потому как уже ночь на дворе, а мы с колядованием чуточку запозднились.

– Дорогая Совета, возьми от меня в дар за столь красивую и поучительную коляду пару орехов с дерева, что я сам посадил у своих ворот. Их ядра легко достать, скорлупа у них не каменная, поддастся даже ребенку. Поди поближе, Савел!

- А как же их есть? Они, как камни...
- Освобождаешь ядро от скорлупы и кушай на здоровье!
- Я этого не знал. Они растут в земле как картошка?
- Они растут на дереве, Савели. Как кедровые орешки.

В это время в дом вбегает взволнованная молодая женщина. Она озабочена и напугана. Что-то шепчет на ухо Совете.

Совета оборачивается к мужу и наказывает ему позаботиться о госте, так как ей срочно надо сбежать в село, но скоро она вернется. Дан Мыслу признался, что чуток утомился. Сейчас он бы свернулся калачиком и задремал, как загнанный волк.

– Загнанные волки не спят, – говорит ему Антон Пэнущэ. – Они останавливаются, чтобы набраться новых сил, поедая самого слабого в стае.

– Таков и человек, – подтверждает сказанное дед Дан.

– Да, люди бывают разные. Мы тут у себя в лесу давно бы сгинули, если бы не держались вместе.

– Я тоже так думаю, коль на протяжении более двухсот лет вы сохранили свой язык, свои обычаи, свою национальную одежду. Это означает, вы преодолели волка в самих себе.

– Скорее всего, его в наших душах не было.

– Трудно в это поверить. В моем понимании не бывает молдаванина без зависти, без предательства. Такого не бывает и быть не может. А может, вы тутошние молдаване кантемировских времен другой закваски? Закваски, которую мы у себя дома растеряли?

– Да нет же. Попросту мы тут нашенские. Конечно, не ангелочки, но от нехватки земли еще ни разу не ссорились. Как вспоминал дед Пинтилий, в Молдове могли из-за межи друг друга кровью залить.

– Мы ссоримся до посинения даже из-за такой незначительной мелочи, что жеребенок забрел в чужое кукурузное поле. Ты сказал, что вы тоже не ангелы. В нас сам дьявол сидит, коль какой-то Строе безжалостно заложил некоего Владимира Киркэ. Этот Киркэ отдал все колхозу. Даже кочергу и ту не пожалел для коллективной пекарни, а вот нечто незначительное, пару уздечек, не задумавшись, припрятал. Якобы на память, что когда-то держал лошадей. А Строе взял и шепнул об этом Туфэникэ, есть у нас такой председатель сельсовета. И что ты думаешь, наш Киркэ из-за этого теперь в Сибири прохлаждается.

– Это уже не сказка, а небылица. Тоже скажете...

– А моего Думитру, который спас одиннадцать семей от депортации, почему, думаешь, сослали в ссылку?

– Наверно, что-то взбрыкнул по неосторожности, ибо в наше время может больше навредить сказанное невпадат, чем сделанное...

Но вот возвращается Савета. Отряхивается от снега. Светится радостью. Объявляет хорошую новость: «Побывала у снохи Градиште. Пэнуца родила мальчика, похожего на ангела. Я приняла у нее роды. Это восьмой по счету сын... бог не дал девочку. Но ничего, молодая еще, дождутся они и нашего горемычного женского семени. Мальчика с моей подсказки назвали Даном в честь нашего гостя. Конечно, регистрируют как Богдан, но баловать его будут по имени Дан, Дэнуц.

Дан Мыслу польщен: «Дай бог ему здоровья и чтобы дожил он до моих лет, но боже упаси его от моего счастья. Пусть растет высоким и гордым тополем, потому что на тополь не замахиваются палкой. А еще лучше, чтоб вырос он, как черешневое дерево, чтобы сдобрить людей своим сладким фруктом».

– Вы только не обижайтесь, но я заодно заскочила до дому и захватила для вас эту шубу и сапоги. Они остались от моего отца. Подумала, вам предстоит дальняя дорога, а морозы у нас вон какие крепкие.

– Не стоит так заботиться обо мне. Бог нас согревает.

– Возьмите, возьмите. Хотим и мы сделать что-то хорошее человеку, который напомнил нам о наших корнях, о духовной родине, которую никогда не видели и не знаем, удастся ли когда-нибудь взглянуть на нее хоть одним глазочком.

– Я приглашаю вас ко мне в гости. О, вернусь к вам обратно с моим Думитру, и мы все вместе отправимся в Бессарабию. Угощу я вас волшебными грушами из своего сада, которые так и таят во рту.

– Думаете вернуться аж будущим летом?

– Человек знает, когда отправляется из дому, а когда возвратится домой – одному богу известно.

– А меня с собой возьмете? – спрашивает Савел.

– Непременно возьмем, Савел. Но сдаётся мне, что, раз увидев родину своих предков, затоскуешь по ней навсегда. Видно, не зря эти прошедшие двести лет, что тут прожиты кантемировскими молдаванами, не смогли стереть из вашей памяти наше теплое южное солнце, жаворонка в синих небесах, запах свежеспаханного поля.

– Я тоже никогда не видел Молдову, – говорит путевой сторож, – но она мне часто снится. Как улягутся эти послевоенные страсти и времена станут поспокойнее, мы обязательно соберемся и поедем к вам погостить.

Дед Дан и Антон Пэнуцэ легли спать валетом на лавке. Дед – головой к двери, сторож – к железной дороге. Обоим приснились светлые сны о будущей счастливой жизни на земле предков.

Савел и Савета уехали в село.

Далеко в Молдове дети колядовали по дворам односельчан. И как будто среди них был и Митруцэ (* ласкательное от Думитру) Мыслу. Его коляда была самой красивой: «Рай прекрасный, милый сад, ни на миг не оторваться от твоих неземных прикрас, от запаха цветов, от веселой игры и скрипок...»

Потом дед Дан увидел Митруцэ в телеге, до подбородка укутанного в зеленую шаль своей мамы Аргире. Он отвозил своего мальчика в школу, в лицей для мальчиков имени Александру Доница. Аргире не терпелось видеть его священником, а он хотел, чтобы его Митруцэ стал агрономом, как бы тоже крестьянином, но более образованным, с большой любовью к земле. Митруцэ был младшим в семье. Двое старших сыновей погибли в результате роковой случайности сразу же после окончания войны. Недалеко от села солдаты проводили учения и по халатности оставили после себя неиспользованные боеприпасы. Его сыновья вместе с другими сельскими мальчишками пасли в тех местах овец. Они нашли необезвреженную мину и стали по ней стучать железными прутьями, пока та не взорвалась. Младший Ионел схватил Филимона за руку и давай с ним бежать подальше от страшной напасти. А когда Ионел оглянулся, то увидел Филимона, сраженного на части осколками, а его правую руку в своей руке. Ионел так и добежал до дома, будучи не в состоянии разжать ее... Неимоверный страх, охвативший его впоследствии, постоянно мучил ребенка, от чего его и настигла смерть. Однако это произошло намного позже, после того, как он стал взрослым, готовым к женитьбе.

В объятиях сна воображение деда Дана возвращает его к Митруцэ. Остерегая сына от всего, пуще собственных глаз, даже на каникулах не разрешал пасти овец. Лучше заплатить чабанам, чем подвергать сына какой-нибудь непредвиденной опасности. Но и не хотел, чтобы из него вырос лентяй. Находил ему работу по хозяйству, на току или брал с собой на бахчу, лишь бы он ни на минутку не выпадал из его поля зрения. Он хорошо запомнил предсказание старой цыганки, которая наказала ему предостерегать сына от воды. Он не давал ему приближаться к колодцу, запрещал купаться в озере. Однажды пришлось оставить его одного на бахче. Ему понадобилось съездить в Кордово, намолотить на мельнице пару мешков кукурузной муки. Пошел ливень.

Когда вернулся, бахчи как не бывало. Все унесла с собой вода, а что не успела, накрыла илом. Не видать ни шалаша, ни мальчика.

– Господи, за что ты меня так жестоко караешь? – закричал он от горя на всю округу. Его отчаянный стон достиг опушки леса, где пряталась от непогоды цыганская семья. Цыгане свистом позвали его к себе. Они спасли ему сына.

Продолжение следует.

Ирис ВАРДАНЯН

**Потоки**

Потоки, волны светомыслей
 Меня уносят без труда.
 В вопросах «для чего?», «куда?»,
 Похоже, нет ни капли смысла.

Я отдаюсь им. Сердце плачет
 От благодарности за шанс
 Войти с пространством в резонанс,
 Вдруг осознав, что это значит –

Мы всё одно, одновременно
 Мы одинокие одни –
 И обе роли равноценны,
 Цикличны, словно ночи-дни.

Мы учимся быть лучше скромно,
 Внутри, в себе, в режиме «сам».
 Но вместе – мягче и объемней,
 Приятней, ближе к небесам.

Потоки, словно изначальность,
 Своей невидимой рукой
 Ведут из крайностей в бескрайность,
 Из беспокойности в покой.

Объединяя два начала,
 Рождают третье – узкий мост
 На пограничном перевале,
 И контролирующий пост.

И с каждым мигот мост все шире.
 Свободней. Вот уж можно жить
 Прямо на нем, в обмене с миром,
 И волны с двух концов ловить,

В их свете нежном растворяться,
 Впускать в себя их полноту.
 И постепенно превращаться
 Душой в дощечку на мосту...

Благодарю...

Устремлен мой взор на небо,
 Щедро давшее мне хлеба
 И для духа, и для тела,
 Сил – для мысли и для дела,
 В ожидании – терпенья,
 В грусти темной – вдохновенья.
 За стремление к добру
 Сердцем мир благодарю.

С благодарностью на Солнце
 Днем гляжу через оконце,
 И благодарю Луну
 Сквозь ночную пелену.
 Свет закатов вечерами
 Над знакомыми домами,
 И рассветы поутру
 От души благодарю.

Ветер свежий, дождь, снежинки,
 Облака, листву, песчинки,
 Моря дивный горизонт,
 И земли вкуснейший плод,
 Гармоничную природу
 Я в любую непогоду
 Как любимую сестру,
 От души благодарю.

Давшую мне жизнь святую
 Маму, милую, родную,
 Близких, преданных друзей,
 Раз увиденных людей
 И врагов благодарю –
 Всем спасибо говорю.

Страх и силу на борьбу,
 Знаки на пути в судьбу,
 Встреч случайность, совпадение
 С долей предопределения,
 Что дано и что творю –
 Я душой благодарю.

Каждый запах, цвет и вкус,
 Каждый минус, каждый плюс,
 Быстро мчащееся время,
 Тела временное бремя,
 То, что так, а не иначе,
 То, что вправду много значит –
 Всю Вселенную-семью,
 Я душой благодарю.

* * *

Не знаю, зачем рождены мы.
 Не знаю, зачем мы умрем.
 Мы здесь – значит, необходимы.
 Зачем – мы узнаем потом.

* * *

Необъяснимо жизни течение,
Неоспоримы законы его.
Неоднозначно предназначение,
Слишком глубинно его естество.

Слишком запутанна нить мироздания,
Слишком бессвязен всеобщий процесс.
Неизмеримо высшее знание.
Непроницаемы грани небес.

Непознаваемы сути и истины,
Спрятаны за пеленою из снов.
Непостижимы и просто немислимы,
Но лишь для тех, кто еще не готов.

Он

Вселенская, Космическая Сила,
Природа, Логос, Нечто и Эфир,
Священный Дух, Небесное Светило –
Так мы зовем наш Жизни Эликсир.

Заботливо надежды покрывалом
Он укрывает в самый сложный час,
И, как бы мы Его ни называли,
Течет по венам каждого из нас.

Он неизменен. Он один – начало
Всего, что есть, и даже – чего нет.
Он – то, что вечно, а не что «настало»,
Он – Всё. Он – тьма, Он – слишком яркий свет.

Он – корень Древа Жизни, мы – лишь семя
Его плодов, но тоже прорасти
Способны. Он дает на это время –
Всю жизнь, чтоб из земли найти пути,

Чтоб устремиться в неба разреженность
Сквозь туч преграду к Солнцу напрямик,
Его лучей касанья благосклонность
Принять и, словно Света проводник,

Делиться им, давать. Он совершенен,
Он совершает и дает понять,
Что в нас – потенциал, как Он, безмерен,
Что мы, как Он, способны совершать.

Сад

Мечты, как чашу, наполняют душу
Огромной силой их осуществить –
Будь то мечта создать, мечта разрушить.
Любая прихоть может мощь развить.

Но злого умысла посеянное семя
Выносливей, чем семя доброты,
Ведь не нужны ему ни длительное время,
Ни цепь условий, чтобы прорасти.

Не позволяй же злomu устремленью
Упасть на почву сердца и взойти.
Упустишь миг – и крепкие корни
Уже ничем вовек не извести.

Но знай, от сорняков не щит теплица.
Разрушь ее, откройся свету дня.
Пои свой сад любви живой водицей,
Любовь – твоя прочнейшая броня.

* * *

Куда несемся мы в потоке вечном жизни?
Мы ищем Истину, как сущность бытия,
Божественность, столкнувшуюся с призмой
Небесного стекольного литья.

Мы ищем свет – тот, вечный, первородный,
Распавшийся на множество лучей,
Но разум нам не в помощь плодородный –
Лишь в чувстве скрыта подлинность вещей.

Сергей ГОРА



Родился и учился в Ленинграде. Окончил ЛГУ. Филолог-лингвист. Имеет учёную степень из СПбГУ, а также ряд научных публикаций в США, куда переехал как приглашённый специалист. Постоянный прихожанин русских православных церквей. Известен как один из первых и наиболее удачливых постсоветских менеджеров потребительского рынка СНГ, а также как один из первых русских ведущих телевизионных ток-шоу. Стихи пишет с юности, хотя никогда не ставил перед собой задачи их коммерческой публикации. Многочисленные читатели и слушатели его стихов называли его поэзию летописью конца XX – начала XXI века, написанную истинно русским человеком, уникально оставшимся неангажированным какими-либо властными или корпоративными структурами.

Маленькие машины

Из одной бескрайней клетки,
Где взамен дороги грязь,
Вырулить мечтали дети,
На сиденье развальясь.

Как солидные мужчины,
Мёл всезнайка-пионер,
Размышляя про машины,
Чтя их роскошь и размер.

Задержись, мечта, зависни,
Заблести до брызг из глаз.
В этой лимузинной жизни
Не хватало только нас...

Невзирая на накачки, –
Дескать, Запад – это вред, –
Мы росли быстрее, чем... тачки,
И летели годы вслед...

**На Васильевский остров...
умирать не пойду**

На Васильевский остров я пойду умирать...

Иосиф Бродский

Слышу, как колокольный,
Откровения звон:
Дескать, дух, хоть и вольный,
Рвётся к родине зон.
Снять поэта не просто
С ностальгических звёзд,
Где Васильевский остров –
Вожделенный погост.

Мол, в приневской низине
Ждут вдоль линий дворцы,
Чтоб на них водрузили
Покаянья венцы.
Раз блаженные мощи

Не грозят покарать,
Значит, видимо, проще
Там душе умирать.

Я для Острова – местный,
Блеск ростральных костров
Вёл меня за невестой
Морем трепетных строф.
Может, снова, однако,
С тем огнём поиграть
И напротив филфака
Судным днём помирать?

Но едва замаячил
Мне билет роковой,
Как послышался плачем
Мрачных демонов вой:
Безразличья коростой
Мы сковали Неву, –
Твой Васильевский остров –
Больше не на плаву.

И сужу, многогрешный,
Раня признанный слух,
Воздух, некогда вешний,
Там отравлен и сух.
Грёз обглоданный остов
У мечты на виду:
На Васильевский остров
Умирать не пойду!

Слов тузы да шестёрки,
Кто кого перекрыл? –
Похоронен в Нью-Йорке
Ностальгический пыл.
Кто пророк, кто невежда,
Не познаешь в словах,
Ведь России надежда
На иных островах.

Какая панорама!

Ах, Нью-Йорк. Какая панорама! –
Поднебесный ряд стальных дворцов:
Единенье святости и срама,
Чистоты отглаженной и хлама,
Чинных бонз и бешеных юнцов.

В кружевах мостов чугунной вязи,
Как года, мелькают корабли.
Здесь в объятьях роскоши и грязи
Вольно дышит середняк Земли.

Средний класс – страны надёжный демос,
Вековое города нутро, –
Как свободы факел держит термос
По утрам в запруженном метро.

Ах, Нью-Йорк. Прости, что так охально
Я сужу запутанность твою:
Эскимосы здесь сидят под пальмой,
Африканцы – о зиме поют...

Здесь индусы ждут приход мессии,
Сторонясь языческих манер...
А евреи говорят: Россия,
Не картавя, как в России, «эР».

...Не следит испанка за младенцем:
Мол, на то есть бэйби-ситер швед.
Вот поляк идёт в обнимку с немцем
В ресторан китайский на обед...

...А в тени у пляжа променада
Ждёт такси клиенток на извоз:
Подмигни, коллега из Таиланда,
Пассажирке из страны берёз...

...Вид машины власть не переносит:
Отношение – хуже, чем к ворам.
Каждый день в часы уборки – осень:
Листья штрафов носит по дворам,

Опуская их в карманы граждан,
Невзирая на чины и лик.
Здесь в мечту о счастье верит каждый,
...Как в заветный паркинг часа пик.

...Ах, Нью-Йорк, всегда следы кроссовок
На любой из утренних аллей.
Ты – столица спорта и тусовок,
Королев арен и королей.

А когда тебе, товарищ, плохо
И тоска приходит душу грызть,
Собирай свой дух и двигай в Сохо,
Позабыв приличье и корысть.

...Продают с лотков арабских суши,
Подают в кафе французских «рам».
Здесь в одну слились народов души
Под девизом: «Новый Амстердам».

Всё для всех: работа и беспечность.
И не просто выразить в стихах
Тем, идей, сюжетов бесконечность.
Ах, Нью-Йорк, Нью-Йорк! И снова: ах!

* * *

Не кричи, окстись, – я слышу
На родимом языке.
И, глядишь, вползает в крышу
Мысль о праведном совке.

Мол, оставь Европе стрессы
Жизнь в России бьет ключом:
Там не «Лады» – «Мерседесы».
Не обрублены причём.
Кожей нежной, а не грубой
Знатен кресел их наряд.
У ночных московских клубов
В ряд, шеренгою, стоят...

Я смотрю в недоуменье
На рублевский их приют.
Есть гараж, к чему сомненья:
Украдут или убьют...

«Мерседес» – все ладно сбито,
Чтоб мотор не подкачал.
... Пионера карта бита,
Я неправильно мечтал...

Жива

Богиня тюльпанов, фиалок и роз,
Хрустально-жемчужной капли,
Как много волшебных восторженных грез
В твоей поднебесной купели?!

Как много вокруг огоньков-светлячков
На льдинках, от солнца горячих?!
Рассвет различим, и не нужно очков,
Тем более лишних для зрячих.

Омойся весенней водой ледяной,
Природному веря ученью.
И можно ли было представить зимой,
Что лед понесет по теченью.

И, правда, сбываются вещие сны,
Когда не хватает озона.
И вслед за зимой слышен голос весны,
Исполненный светлого звона.

Там лучами любопытства
Было всё озарено,
И сто раз я оступиться
Мог – мне было всё равно.

Хоть забыты все тропинки,
Я брожу, покой храня,
И грибами из корзинки –
Юность смотрит на меня.

За кружевами белизны...

За кружевами белизны
Густое таинство заката
В смущенье льдистой тишины
Тоску пьянит огнём муската.

И лиловеет белизна,
На плечи вечера спадая.
Устами тьмы, устами сна
Целует небо стынъ седая.

В морозных токах декабря
Луна свои полощет перья.
Тревожной полночи снаряд
Зима взрывает в подреберье.

И миллион живых миров
Во мне сливается в единый,
Который страшен и суров
Своей бездушной сердцевиной.

В котором нету божества
И нет времён преображенья
В живые мысли и слова,
В души свободные движенья.

Звонят колокольчики...

Вплетается страха пурпурный цветок
В бесцветные пряди сомнений,
И строит бессмертье над Летой мосток
В края неземных вдохновений.

Там тихо беседуют наши мечты,
Мерцают на звёздных ресницах,
О том, что мы счастливы были почти,
Земные бескрылые птицы...

Там сонно целует простор тишина,
Вселенским покоем омыта.
Там горесть забвением сожжена
И ласковы лики событий.

Звонят колокольчики звёздных сердец
В сердцах одиноких поэтов,
И время чудес, как жучок-плавунец,
Плывёт от планеты к планете.

Почти не другие...

Зима говорит о вечерней звезде,
О вскинувшей чёрные крылья беде,
О праве не быть никогда и нигде
Неправой и невиноватой.

В избушке ночей обитает она,
Где льётся на крышу с небес белизна,
И гулом метелей в лесах сожжена
Холодная свечка заката.

Весна говорит о тебе, о тебе,
На птичьем наречье в лесной ворожке,
Листая цветные страницы в судьбе
И радуги снов зажигая.

А я – молчалива, я знаю, что ты
Апрель, окрыленный бессмертьем мечты,
Такой, как во сне... ты такой же почти.
Я тоже почти не другая!

Я вижу, как время гуляет...

Я вижу, как время гуляет по небу,
Легко поднимаясь по звёздным ступеням
Туда, где живёт одинокая небыль...
Где брошен в галактики вечности невод –
Ловить золотых пескаррей вдохновенья.

В тех омутах звёздных так много земного,
Так много плескается юного счастья,
Так много знакомого, сердцу родного,
Что кажется быть и не может иного,
Чем то, что встречаем привычно и часто.

Но тени событий там столь многоцветны!
Там всякая радость смеётся лучами
Добра, и всё жуткое кажется бледным.
Взрастает бессмертье квазаром несметным
Из той пустоты, где живучи печали.

А мы, согревая у печки покоя
Промокшие ливнями горестей души,
Небрежно к щеке прикоснёмся щекою,
В окно поглядев, скажем: небо какое!..
Как тихо! – шепну я. – Ты только послушай.

Алина МАКОВЕЙ



Родилась в г. Кишиневе. Окончила Госуниверситет по специальности «Международные отношения и иностранные языки». Работает в туризме более 10 лет. В школьные годы писала сценарии к выступлениям и сама в них участвовала. Печаталась в журнале Instyle (молдавском), сайте locals.md, а также ведет рассылки на своих ресурсах по теме «Самостоятельные путешествия».

Авантюра в бокале

- **Я** не верю! Это не со мной!

Сверкающее обручальное кольцо с овальным сапфиром со свистом летело в сторону застеленного бара. Осколки стекла вместе с брызгами красного бургундского безжалостно врезались и выплескивались в висевшее рядом свадебное платье.

А всего лишь два дня назад я предавалась простым, но красивым мечтам: оказывается, быть невестой так приятно, в голове проносятся образы «я вся в белом и мне идет, приглушенно льется соло саксофона, удачно подобранные цвета шатров, гостей очень много – везде атмосфера легкости, да и обязательно Дом Периньон, мое любимое шампанское, разносят».

Каких-то 48 часов назад всё шло по плану...

– Чувствуете, как раскрываются аромат и вкус? Сначала идут нотки инжира и айвы вперемешку с корицей, стручковой ванилью и розмарином. Пусть каждый поднимет свой бокал на уровень глаз, видите мерцание?

– Дааа, – слышалось гулом...

– Этот благородный гранатовый оттенок присущ только Ширазу и Пенфолдс Гранге. Все согласны, что структура этого вина плюшево-кашемировая? Я сейчас солью остатки из графина декантера, чтобы усилить контакт с кислородом, и вы почувствуете финальный аромат и послевкусие. Каждый должен отметить и записать в блокнот, что почувствовал, я проверю.

В мраморном зале вокруг стола с бесчисленными бутылками, графинами и салфетками человек пятнадцать старательно, а некоторые даже мучительно, пытались применить органолептический анализ вина. Кто-то мечтательно закатывал глаза, кто-то нервно тербил нос, а кто-то даже причмокивал, чтобы показать, насколько они хотят научиться «читать вино».

– Итак, вы все молодцы! Правы оказались те, кто уловил и описал послевкусие: оно длительное и слоистое, с нюансами кедра. Заметили еле уловимый фон американского дуба. Bravo! Как обычно, под конец нашей встречи, напоминаю вам, что сомелье должен правильно выбрать, к какому виду блюд можно посоветовать это вино. В данном случае рекомендую красное мясо, особенно говядину и дичь, а также тушеные бычьи хвосты с овощами и обязательно зрелые сыры. На этом всё, благодарю за внимание, если есть вопросы или желаете заказать «винную карту», я буду на первом этаже в фойе.

Однако, как только лифт доставил меня на первый этаж, я стремительно взяла курс на выход. Вместо привычной вечеринки в модном клубе, которой заканчивалась любая презентация или мастер-класс, я предпочитала вот уже который месяц проводить тихие вечера дома с чашкой теплого молока, без телевизора, наедине со своими мечтами.

В газетах писали про самую ожидаемую свадьбу года завидного жениха Льва Змеюнина, владельца элитного ресторана «Винопанорама», и его модного сомелье Зои Апрельской. Какие только слухи ни ходили вокруг нашего романа. По словам Левы, «они сэкономили нам уйму бабок на рекламу, нас все хотят!» И действительно, последний год был каторжным: презентаций, разработок винных карт для ве-

черинок и мастер-классов для состоятельных клиентов я провела рекордное число: 310 – почти каждый день, без выходных и праздников. Поняла, пора остановиться, после третьего месяца такого марафона. Тот разговор с Левой дома я повторяю в памяти каждый раз как молитву, когда совсем уже нет сил, как сейчас.

– Лёвушкин, я так не могу больше. Я едва сдерживаюсь, чтобы не нагрубить кому-то из этих напыщенных индюков с красными от выпитого глазами, да и всех денег не заработаешь.

– Маленькая моя, ну мы же это делаем не только для себя или для ламборджини. Не-ет! Мы заведем малыша сразу после свадьбы. Как мечтали: в новом просторном доме с тенистым садом...

– Да я держу этот образ перед собой постоянно. Но я устала, понимаешь? Кого я потом рожу такая?!

– Ты у меня крепкая девочка, в Швейцарии восстановишься, месяц-другой. Понимаешь, сейчас, пока нашу свадьбу все обсуждают, твои услуги как никогда дороги. Потерпи еще немного, потом будешь работать, только когда захочешь.

– И все-таки, может, хватит? Сколько у нас уже есть на дом?

– Еще пару месяцев, и всё, – прошептал Лева, – а теперь давай баиньки, я тебя понесу.

Все наши разговоры на эту тему заканчивались одинаково.

* * *

Я люблю по утрам разглядывать свое подвенечное платье. Это как ритуал вместо кофе. Традиционно белое, его всего как неделю привезли из Штатов.

– Пособие по женственности и романтике, Вера Вонг – мастер! – заключил наш общий с Левой друг, именитый дизайнер, на примерке туфель. Безупречный крой вводил в гипнотический транс. До свадьбы оставалось меньше двух месяцев, и дела у меня были расписаны буквально по часам. Но то, что произошло в дальнейшем, я не способна была даже выдумать.

– В конце июля делаем серию для Vernay, презентуем основную линию вин. Схема стандартная, только очень тебя прошу подойти серьезно к исполнению и организации. Зои! Ты вообще меня слышала? – почти взвизгнув, Лева окрикнул.

Я, мечтая, рисовала вензеля, которые стоит сделать из живой изгороди для свадебного декора. Заказчиком, а точнее, заказчицей была весома фигура в мире виноделия – Кэтрин Уислоу, наследница самого престижного винного дома в Австралии George Vernay, пятого по значимости в мире.

Место выбрала сама Кэтрин – отель Ritz Carlton, неоправданно роскошный и бессовестно дорогой. Все переговоры вел Лева, изматывался страшно, часто не ночевал дома...

В такт жениху я тщательно расписывала в уме каждую мелочь, отрепетировала на близких друзьях-клиентах свое выступление. Но даже глубокой ночью, когда по десятому кругу и план рассадки, и выбор блюд с напитками были проверены тщательным образом, возвращалась мыслями к образу себя беременной и думала о том, как мужские руки ласково касаются моего живота...

Контракт в день презентации Лева забыл на домашнем столике, поэтому я решила пораньше приехать в отель и отдать его Кэтрин сама. Та общалась только с Левой, над чем я подшучивала:

– Ты проводишь с этой мадам больше времени, нежели со своей невестой.

– Брось, маленькая, это же скучная старуха, и она совершенно помешана на бизнесе. Но и платит хорошо!

Пока я ожидала на рецепции ответа, возможно ли подняться к миссис Уислоу, донесся звонкий голос, который чеканил каждое слово на английском:

– Козий сыр не сочетается с красным вином! Запомните это, мисс. – И уже более мягко: Смотри, милый, какое невежество даже в таком отеле!

– Дорогая, не стоит принимать так близко к сердцу ляпы обслуживания.

На этот голос у меня сработала мгновенная реакция – это был Лева. Жених заботливо держал за руку миловидную, немолодую блондинку в бледно-розовом костюме от Шанель. Пара прошла мимо, как корабль отходит от гавани, так же спокойно и безмятежно. Консьерж учтиво констатировал:

– Кэтрин Уислоу как раз в главном ресторане, вы можете ее найти там.

Градусы температуры вместе с бешеным пульсом бились внутри: «скучная старуха» скорее была похожа на «зрелый персик», до того ухоженный и цветущий у нее вид!

Минуту спустя пришла смска от Левы: «через 15 минут в конференц-зале»... Но ни через 15 минут, ни через час Лева не появился. С завидным упорством я нажимала на кнопку вызова, пока от злости не кинула телефон.

– Через час начнется презентация, гости уже начали прибывать, а ящик с Hermitage еще не привезли! – ворвалась в зал помощница, растрепанная, с выпученными глазами. – Льва Вениаминовича нигде нет!

– Так, Вилена, успокойтесь и приведите себя в порядок. Ждите меня здесь, я поищу его.

Телефон был приведен в рабочий вид. Выходя, я обратила внимание на проходящих мимо мужчин, крепкого вида, в костюмах, они явно направлялись не в конференц-зал. Но дальше не было ни помещений, ни прохода. Заинтересовавшись, я подошла к двери с надписью «Только для служебного пользования», и в немом удивлении застыла: на полу в позе улитки лежал Лева в рваной рубашке, с буро-синими подтеками на лице.

– Что... они хотели? – вытянулась я в струну, как тигрица, защищающая детеныша.

– Что, что... денег они хотели! Я им должен. И с этой Кэтрин связался из-за долга. – Лева, отплевывая кровавые сгустки, небрежно снял рубашку, точнее, лохмотья от нее.

– Связался с Кэтрин... Долг? Какой еще долг, я не понимаю, – вымолвила я, беспомощно моргая.

– Рано или поздно ты бы все равно узнала... Я играл в подпольном казино и продул по-крупному, решил отыграться, но без толку. Играл на чужие деньги, мы с тобой думали открывать второй ресторан. Вот взял в долг типа для него. А Кэтрин влюбилась в меня, как школьница, предложила решить проблемы. Чего ты так смотришь... ну отказываться же глупо!

– Я не понимаю... – теперь уже я, медленно оседая, сползла на пол.

– Опять не понимает... у меня проблемы, Зои! Пока ты там нянчилась со своей усталостью, у меня реально закручены все гайки. Меня просто убьют за такие деньги, как клопа. Прихлопнут! И тебе не замуж, а на кладбище надо будет выходить! Ты этого хочешь? – уже на повышенных тонах бросил Лева.

– Найди-ка мне новую рубашку... очнись, как сова таращишься...

Я взвилась пружиной. Осмотревшись, не увидела ничего острого или деревянного, сдавленно прошептала:

– Я правильно поняла, у тебя роман с этой «старухой-школьницей»?

– Ой, маленькая, я же тебе сказал. Я ее не люблю, но она денежный мешок, Клондайк, который транжирит деньги ради любимого, то бишь меня. – Выражение лица у Лева было как у коллекционера, нашедшего редчайшую марку. – Ты же хочешь замуж, дом, ребенка?

– Какой ты подонок!

– Перестань, для нас же стараюсь. Не люблю я эту старуху, мы и спали-то...

– Стоп! А вот это я не намерена слушать.

Через мгновение я влетела в конференц-зал, где уже собирались гости, беседуя между собой. Вдалеке я заметила Кэтрин Уислоу, которая с интересом наблюдала, куда это я на такой скорости несусь. Грохот бьющегося стекла разрушил эту светскую идиллию. Я с большим удовольствием опрокинула стенд с презентуемыми бутылками вин. Не обращая внимания на порезы и потерю левой туфельки, с бокалом в руке я устремилась к толпе приглашенных, цепляясь взглядом за Кэтрин:

– Дамы и господа! Отличительной особенностью вин Пенфолдс Гранге является сорт, из которого это вино производят...

Кэтрин наблюдала за сценой. Ничто не выдавало ее эмоций: лицо непроницаемо, глаза стеклянные.

– Шираз, – продолжала я, – это subtilный, тонкий и сложный сорт. Он «просыпается» медленно. Дуб должен сопровождать вино, как заботливый супруг, не навязывая своего вкуса.

Кэтрин, как мне показалось, зажмурилась от удовольствия. В дверях появился Лева, с кровавыми подтеками на лице, в грязных брюках и мокрой майке-алкоголичке:

– Что ты творишь, – прорычал он, – прекрати! Ты нарушаешь контракт! Ты уволена!

– Дорогой, контракт предписывает мне провести презентацию и продегустировать вино, что я и делаю, не правда ли? Я ничего не нарушаю в отличие от тебя. Ты перешел все границы!

Я жадно выпила из бокала и смачно опрокинула его на пол, осколки разлетелись под чей-то вскрик и шепот.

– Тут полно вина, дегустируйте без меня, тем более меня уволили.

Я выбежала из зала. Только двое посмотрели вслед: Кэтрин со злобным оскалом торжествующе закурила, Лева, качнув головой, махнул рукой.

– Мы в расчете? – усталым тоном спросила Кэтрин.

– Нет, пока. Дай ей время, – ответил Лева.

Сняв ненавистное кольцо и разгромив домашний бар, я на мгновение задержала взгляд на истерзан-

ных клочьях свадебного платья. Теперь в стекле и в бордовых полосах. Предупредила только родителей, что улетаю: «...в Италию. Нет, телефона не будет. Свой выбросила. Сама позвоню».

В путеводителях пишут: «Тоскана – это сельская романтика, вы можете поселиться в старинном палаццо или на сельской ферме, где делают вино и оливковое масло».

«Чао, сельская романтика, мне бы выспаться и погулять», – заключила я, получив ключ в отеле во Флоренции.

Было чувство, город сам выбрал меня и пригласил. Позади три дня бесцельного шатания, но я не ощущала себя чужой. Я чувствовала себя уютно на улицах с магическими названиями: Pietrasanta, Via Cerretani, Ghibbolina. Лавочки, остерии и даже старая брусчатка приветствовали меня как старого друга.

В то утро я поменяла маршрут и вместо Галереи Уффици оказалась на площади dei Ciompi. Здесь бурлил антикварный рынок: сумбур в нагромождении старой мебели и скоплении ее не менее старых владельцев всасывал, как воронка. Захотелось пройтись и посмотреть. Вначале шли мастерские и мелкие лавки. Немолодой итальянец с гордой осанкой работал над инкрустацией по дереву, вырезал сложный орнамент на спинке стула. Замедлив шаг, я заметила, с какой хирургической точностью он отрезал кусочки древесины.

– Русская? – вдруг услышала я родной язык, хоть и с акцентом. Пара темно-коричневых глаз зазорно выглянула из-за самодельного торшера.

– Русская. А что?

Женщина-облако сразу вызвала доверие, ее движения, несмотря на вес, были плавными и незаметными, она как будто плыла.

– Пойдем, кое-что есть для тебя, пойдем.

Идти было около пяти минут в сторону арки. Оказавшись в малом дворике между домами, я огляделась: стихийная мусорка старого хлама. Поспешила схватить первую попавшуюся вещь – белую тарелку с якорем в середине:

– Сколько? – спросила я, медленно пятясь назад.

– Нет, это положи. Вот тебе. – Женщина-облако протягивала незатейливую, но изысканно сделанную брошь размером с перепелиное яйцо. Пока я изучала мутно-зеленые камни в серебряном обрамлении, не могла отделаться от чувства, что меня рассматривают как под лупой.

Моя странная собеседница ничуть не смутилась, встретившись взглядом.

– Да, это точно ты, – удовлетворенно причмокнув, подытожила она.

Пора сматываться, пока эта сумасшедшая не обвесила меня всякой рухлядью, как ёлку. Уходя, я четко расслышала:

– Верни ее наследнику, и сердце твое обретет сладость вина, которое ты так хорошо знаешь.

Странное совпадение или нахлынувшие воспоминания о Леве тому виной, но Флоренция потеряла для меня шарм после этого случая. Брошь, по моему убеждению, простая бижутерия, выбросить ее я не решилась, но и оставаться в городе не захотела. Поддавшись чувству, я выехала из отеля, где предполагалось наше с Левой наслаждение друг другом, и взяла курс в тосканскую глубинку.

Голубь принес лист оливы – знак мира, когда прилетел к ковчегу с ветвью в клюве. Он знал, что выбирал: оливковые деревья умиротворяют и вдохновляют. Я молча впитывала увиденное на дорогах Сиены: кругляшки стогов, раскиданные по желтым холмам, стройные, как солдатики, кипарисы, запах сена и роз. Как будто время здесь бесконечно.

В таких размышлениях я въехала в Ромиторио – очередной маленький городишко фермеров и виноделов. По привычке ища домик для ночлега, я припарковалась у старинной виллы, обвитой плющом и вьюном. Судя по постройке, ей лет 300, если не больше. Солнце шло к закату. Ноги сами повели меня к порогу. На ломаном итальянском я позвала хозяев.

– Добрый вечер, синьора, чем могу помочь? – ответили мне на чистом английском.

– Я бы хотела остановиться здесь на пару дней. Я заплачу за постой и еду, сколько скажете. – Мне вдруг так остро захотелось здесь остаться.

– Сожалею, но вынужден вам отказать, попробуйте у соседей через пару километров на юг.

Мой собеседник явно не часто принимал гостей, он отвечал учтиво, но уж очень хотел побыстрее меня спровадить. Заметив прекрасно ухоженный виноградник, простирившийся от полузаброшенной виллы, я выпалила:

– А как здесь выдерживают пропорции по Санджовезе для правильного кьянти?

После недолгого молчания хозяин произнес:

– Обычно 70%, но зависит от урожая. Никкола Феррини. Проходите, ваша спальня на третьем этаже, горячей воды у нас нет. Ужин через сорок минут, машину можете оставить у калитки.

Каждый день я съедала по килограмму вишни и питалась фермерской едой. Выпечка здесь волшебной-воздушная. А вкуснее салата из базилика и рукколы с нарезкой из местных сортов салями и сыром вместе с «Салтерио» я в жизни не пробовала. Магическим образом мысли о Леве испарились. Наверное, потому, что я была увлечена процессом приготовления одного из самых красивых по вкусу и элегантности вин – кьянти. Никкола оказался потомственным виноделом. Мы могли часами болтать о вкусах и травах, а вечерами запах лаванды с лакричником пьянил без вина.

– Никкола всегда был необщительным, – поделилась со мной в кофейне загорелая итальянка. – Очень странно, что он пустил вас, синьора.

С «необщительным» я провела два с половиной месяца в разговорах и упоительных прослушиваниях концертов ночных цикад.

– Как тебе итальянская кухня? – спросил как-то после ужина Никкола, когда мы поедали мороженое из белых персиков на веранде.

– Она минималистична, – я смаковала вкуснейшее лакомство. – Ничего лишнего, только суть. Я влюблена в нее безвозвратно.

– Так почему бы тебе не остаться здесь?

– Ну, хотя бы потому, что у меня заканчивается виза.

Во мне нет гена, который бы прикрывал или маскировал волнение, поэтому еще со школьных времен я часто краснею. В момент к голове прильнула кровь, даже на глазах выступили слезы, до того был понятен вопрос и то, что за ним стояло.

– Дольче фар ньенте покорило меня, и я расслабилась. Однако дома есть пара незавершенных дел, – сказала я мягко.

– Тогда я сделаю тебе приглашение на год, и ты вернешься сюда, когда пожелаешь. – Это прозвучало, скорее, как утверждение, нежели как предложение.

Родной город встретил меня дождем. В Ромиторио я так привыкла к тишине, о цивилизации мне напоминал лишь стоявший на кухне старый радиоприемник, который время от времени извергал звуки, преимущественно о погоде и сводке с полей. Привычка пить хороший кофе у меня все же осталась. По утрам после завтрака.

Я не искала встречи с Левой, просто хотела определиться, как правильнее поступить. На работу в качестве сомелье я не вернусь, даже в другой ресторан, – это я поняла еще в Тоскане. Однако перспектива провести остаток жизни в деревенской глубинке с Никкола меня также не устраивала. Надеюсь натолкнуться на свежую мысль, я каждое утро пила свой эспрессо в «Туккано».

– Зои?! Ты вернулась! – Лева все так же умел из любой встречи сделать представление. – Вот уж не думал, что очень захочу тебя видеть.

– Когда-то мы должны были встретиться, почему бы не сейчас.

– А ты изменилась: похорошела, видимо, хорошо отдохнула. Взгляд игривый. Между прочим, я тебя искал, – последние слова Лева выговорил громко, развернувшись вполборота. – Искал, чтобы попросить прощения, просить начать всё сначала.

– Ты все так же позируешь и играешь, жаль только, зрителей в этот раз нет.

– Почему же, моя дорогая Зои...

– Кстати, Лева, я от рождения Зоя, эту «кличку» ты мне для рекламы придумал.

– Хорошо. Зоя... А теперь прошу поприветствовать многомиллионную аудиторию, которая с замиранием сердца следит за откровениями главной героини! – Как лихорадочный, Лев вскочил с места.

Только сейчас я заметила три камеры, под разным углом направленные на мой столик. На экранах заведения появилась картинка зала, где, кроме сидевшей рядами толпы, я увидела себя и Леву, Кэтрин и наших общих друзей. Все они заговорщицки молчали. Я молчала тоже.

– Всё это время, – Лева упивался своим звездным часом, – всё это время, моя дорогая Зоя, ты была главным персонажем нашего розыгрыша. Не было никакого романа, никаких долгов, меня никто не избивал – это грим. А вот ты вела себя великолепно, какие страсти и накал эмоций! Я... по-прежнему тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой. – Лева слащаво посмотрел на меня и встал на одно колено, протянув открытую бархатную коробочку.

Кроме приступа хохота, меня ни на что не хватило. Он явно не ждал такого поворота и замешкался.

– Всё понятно. Актер из тебя тоже погорелый. Прощай или, как говорят итальянцы, «непереводимое

сочетание слов» вкупе с говорящим жестом.

Потом я узнала от родителей, что речь шла о шестизначной сумме в американской валюте. Никкола приехал сам, хотя прошло всего две недели со дня моего отъезда, просто позвонил и спросил: «Ты хочешь меня видеть?». Моим родителям он скромно представился:

– Никкола Феррини, 42 года, делаю вино с 16 лет, как мои и отец, и дед, и прадед. В наследство мне достались виноградники в Италии и сеть винных домов по всему миру. Восхищаюсь талантами вашей дочери, и хотел бы ее просить возглавить представительство в вашем городе.

В тот вечер я впервые вспомнила о брошке с антикварного базара во Флоренции.

– Слушай, есть одна вещь, которую я бы хотела проверить. – Когда я ее протянула, Никкола побледнел:

– Откуда это у тебя?

– Так, одна сумасшедшая старуха подарила. А что, она тебе знакома?

– Это от моей прабабки память, она была чудесной женщиной. В нашей семье она последняя из долгожителей по женской линии. Все – и мама, и тетя, и сестры, все уходили, не достигнув сорокапятилетнего возраста. Отец сказал, это из-за того, что на брошь сделали заговор, знаешь, крестьяне в это очень верят. И пока брошь не вернется через женщину в наш дом, все мужчины будут одинокими.

– Ничего себе, так вот что она имела в виду... – теперь была моя очередь удивляться.

– Что, прости?

– Так... ничего. Однажды я заблудилась, а теперь нашлась.

Никкола улыбнулся.

Руку и сердце он попросил позже – несколько месяцев спустя. Теперь я работаю на мужа.



Светлана АКСЕНТЕ



Родилась в 1998 году в г. Кишиневе. Учится в лицее им. А.С. Пушкина. Изучает иностранные языки. Пробует свои силы в создании рассказов-размышлений о видении прекрасного.

Родственные души

Небольшое чёрное, пока ещё глянцевое пианино давно превратилось из обители благородных звуков в обитель плюшевых игрушек – первых друзей одиннадцатилетнего Вити. Говорящий крокодиль Гена, медведь в красном шарфе, поющий Merry Christmas, розовый заяц, серый мышонок, щенок, кот, какая-то неведомая зверюшка, похожая на тяни-толкая из сказки про Айболита, пингвин, сидящий тигрёнок с поднятыми передними лапками, жираф с высунутым языком, маленький красный дракончик с золотистым хвостом и чёрными глазками. Кого здесь только не было. На кровати, а значит, во главе всех, по замыслу Вити, сидел и приветливо улыбался своим небольшим красным ротиком Винни-Пух. Да-да, среди всего этого многообразия импровизированного животного мира любимой игрушкой мальчика был мягкий жёлтый плюшевый Винни-Пух. Медвежонок с маленькими ушками, блестящими чёрными глазками из бусинок и маленькой красной маечкой с надписью «Винни» крупными белыми буквами.

Винни был не только любимой, но и самой первой игрушкой мальчика. Родители подарили его со словами: «Теперь это твой друг». И слова эти были восприняты слишком буквально. Этот медведь был свидетелем всей жизни Вити, даже после того, как он пошёл в школу, мало что изменилось. Придя из школы домой, он брал в руки Пуха и рассказывал ему о том, что с ним происходило, о чём задумывался. Несмотря на полную безмолвность своего собеседника, он как-то находил в нём понимание или сочувствие. Даже с родителями делился через раз. Нет, не потому, что не доверял или стыдился чего-то, он всё уже поведал своему другу Пуху, а повторяться не было смысла. За исключением случаев, когда ему требовалась помощь или важный совет.

Однажды во время урока учительница объявила: «Ребята, наша школа решила помочь детскому дому. Вы можете принести свои игрушки или купить новые».

Этот призыв был для Вити не пустым звуком. Он твёрдо решил принять участие в этом благородном деле. И отдать свои собственные игрушки. Этим поступком он убивает сразу четырёх зайцев: и детям поможет, и деньги сэкономит, и в классе похвалят, и, наконец, самому себе докажет, что он больше не ребёнок.

Дома Витя, охваченный решимостью и энтузиазмом, начал собирать игрушки с пианино. «Прощай, друг», «Прости, друг», «Ты же понимаешь...», «Ты поступил бы также на моём месте», «Так надо» – вот так он прощался с каждым плюшевым другом, а потом клал в пакет. Напоследок он оставил Винни-Пуха. Как ни странно, именно с ним было самое короткое, но тяжёлое прощание. Взял его в руки, посмотрел, как будто в последний раз, прижал к себе, и в этот момент единственная слеза упала на жёлтую пушистую макушку. «Прости меня, друг, но ты единственный, кто не даёт мне стать взрослым». После этих слов он вздохнул и, скрепя сердце, положил в кулёк. Весь вечер и ночь мальчика мучили две мысли. Во-первых, ещё не поздно и пусть останется только он. Во-вторых, если он так поступит, то навсегда останется маленьким мальчиком. Не трудно догадаться, что было выбрано. Конечно, чтобы убедить в первую очередь самого себя в собственном мужестве, он всё-таки отдал все свои игрушки.

Спустя двадцать лет в жизни взрослого и успешного Виктора Васильевича было всё: и деньги, и

жена, и любовь. Единственное, чего ему не хватало для полного счастья – это дети. Они не могли иметь детей. Тогда было принято решение взять ребёнка из детского дома и воспитать как своего.

По чистой случайности они пришли в тот самый детский дом, куда когда-то, ещё мальчиком, Витя пожертвовал самую сокровенную часть своего детства.

После того как супруги собрали необходимые документы, им было разрешено выбрать ребенка для усыновления. Они зашли в большую комнату, где на ковре играли дети лет четырёх-пяти. Когда дети увидели их, они подбежали и закричали: «Мама», «Папа». Они выглядели такими беспомощными, несчастными и смотрели на потенциальных родителей с такой большой любовью и надеждой. А всего минутой назад они играли так, как играют обычные дети в обычных детских садах, когда ждут, когда за ними придут родители. Только один мальчик не подошёл к супругам. Виктор заметил это и подошёл к нему. В руках у мальчика был тот самый Винни-Пух. Надпись «Винни» уже стёрлась с красной маечки, края которой по-прежнему загибались внутрь. Он был уже изрядно потрёпан – это подтверждали оторванное и затем приклеенное ухо, облысевший бархат на приподнятом носу, стёртые буквы и бледно-жёлтый цвет. Только чёрные глазки-бусинки оживлялись странным огоньком, который был просто светом, отражающимся в них. Как будто после всех терзаний за эти двадцать лет от него так и не смогла уйти та жизнь, которой делился его первый хозяин. Почему-то Виктору в этот момент представилось, как медвежонка поставили на подоконник и он смотрит через окно во двор, надеясь, что придёт друг и заберёт его. Друг же на самом деле сначала отказался от него, а потом благополучно забыл. А солнце всё это время не щадило цветастый мех, а дети не щадили его самого. Хотя это не помешало тому, что в чёрных бусинах по-прежнему отражается свет, а красный ротик все так же улыбается, хотя улыбаться уже давно не было повода. «Да, друг, как ты сильно постарел», – подумал Виктор Васильевич.

- Мальчик, а ты давно с ним играешь?
- Да, как только увидел.
- Никогда не хотел другую игрушку? Смотри, сколько их.
- Нет, не хотел.
- А хотел бы жить у нас?
- Да.

Виктор подошёл к жене и сказал:

- Давай возьмём этого мальчика.
- Но...
- Никаких «но». Или его или никого.
- Я согласна.

Это был один из тех редких случаев, когда в мире происходит маленькое чудо – ведь единственным и самым заветным желанием этого мальчика было обрести родителей, а Винни был единственным, кто был знаком с этим желанием.



Кристина ПЫНЗАРЬ

Учитель химии, I дидактическая степень, ТЛ «Алеку Руссо», г. Кишинев

Проблемное обучение – как средство активизации творческой активности учащихся

В настоящее время актуальна проблема формирования гармонически развитой творческой личности, способной логически мыслить, находить решения в различных проблемных ситуациях, систематизировать и накапливать знания, способной к высокому самоанализу, саморазвитию и самокоррекции. Для достижения данной цели необходимо использование технологии проблемного обучения. Чтобы в сложившихся проблемных ситуациях ребенок не «пасовал», а стремился их разрешить. В результате будет формироваться творческая личность, способная к поиску, а также более защищенная от стрессов.

Хорошая дидактическая подготовка учителя сегодня особенно важна, потому что без знаний общей теории нельзя творить, а сам процесс преподавания – это искусство увлечь детей своим предметом, удивить красотой мысли, знания, побудить к самостоятельным мыслительным действиям.

Что такое современная школа? Это где весело? Это где целесообразно? Это где любопытно? Это где рождаются знания о природе, о правилах взаимоотношений между людьми, о знаниях своего организма и умениях их использовать? Или это школа, которая дает знания в общепризнанном понимании? Или где учат жить: бороться за свое положение в обществе, уметь отстаивать себя, уметь не только защищаться, но и побеждать, уметь приносить прибыль в свой дом? Международные исследования показали драматическую вещь: наши школьники обыгрывают иностранных по фактологии, но слабы в решении практических задач. Почему? Не секрет, главная беда нашей школы – инертность, крайняя несамостоятельность учащихся, пассивно заглатывающих тщательно пережеванную преподавателем учебную пищу. Проблемы, возникающие в процессе обучения: во-первых, снизился интерес детей к учебе; во-вторых, стало сложно работать с пассивными, усталыми от избытка ненужной информации детьми, в-третьих, как следствие, снизилось качество знаний учащихся. Между тем повышение качества знаний школьников и их интереса к учебе было и остается одной из важнейших задач школьного образования.

Способ преодолеть негативные стороны традиционного репродуктивного обучения мы нашли в технологии проблемного обучения. Проблемное обучение – один из методов развития у учащихся самостоятельного творческого мышления. Поста-

новкой проблем, проблемных вопросов или проблемных ситуаций учитель создает определенные организационные условия для активизации мыслительной деятельности учащихся, стимулируя поиск недостающих знаний для разрешения познавательного противоречия.

Итак, проблемные уроки актуальны, так как способствуют активизации познавательного потенциала обучения, обеспечивают самостоятельную поисковую деятельность и высокий познавательный уровень, личностную включенность всех участников в процесс обучения, его практическую направленность. Учебный предмет «химия» в силу своей практической направленности в полной мере способствует достижению главных целей проблемного обучения:

- развитию мышления и способностей учащихся, творческих умений;
- усвоению учащимися знаний, умений, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем, в результате чего эти знания, умения более прочные, чем при традиционном обучении;
- воспитанию активной творческой личности учащегося, умеющего видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы;
- развитию профессионального проблемного мышления.

Проблемные методы – это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами и явлениями их сущность, управляющие ими закономерности.

Методов проблемного обучения три – проблемное изложение, эвристический и исследовательский методы. Их применение в учебной практике эффективно прежде всего тогда, когда учителем ставится задача на базе уже имеющихся знаний и умений сформировать качественно новые – умение самостоятельно решать поставленные перед учащимися проблемы, умение их формулировать, искать способы их решения, предлагать гипотезы и планировать эксперименты по их проверке. Каждый из методов специфичен и по деятельности учителя, и по деятельности учащихся. Эти методы применяются в зависимости от тематики и содержания учебного материала, подготовленности учащихся и конкретных целей данного урока.

Практика показывает, что лекционные заня-

тия предпочтительно проводить, используя метод проблемного изложения. Не очень нравятся уроки в форме монолога, поэтому используем лекции с элементами поисковой беседы. Дидактическая цель таких занятий состоит в изучении нового материала посредством совместной поисковой деятельности с учащимися. На таких уроках мы не только формулируем проблему и предлагаем свой путь ее решения, но и включаем детей в активный поиск других вариантов решения. Каждый ученик на таком занятии может высказать свое мнение. Фактически такая лекция является комбинированным типом учебного занятия, поскольку проблемное изложение учебного материала сочетается в нем с проблемной беседой.

На уроках – проблемных лекциях, удобно работать по установлению причинно-следственных связей между строением вещества (класса веществ) и свойствами.

Метод эвристической беседы предполагает использование серии логически взаимосвязанных вопросов, ответы на которые должен сформулировать сам ученик в процессе общения. Данный метод используем практически на каждом уроке химии. Например, при изучении в 8-м классе значения кислорода задаем учащимся следующие вопросы для обсуждения:

- Какую роль играет в природе кислород?
- Почему на Земле общее количество кислорода в атмосфере практически постоянно?
- Почему лес называют легкими планеты? Что произойдет при полной вырубке лесов?

В применении исследовательского метода в школе самое ценное – исследовательский опыт. Именно этот опыт творческого мышления и является основным педагогическим результатом и самым важным приобретением ученика, который в процессе исследования устанавливает истины, значимые для него. Исследовательские задания могут быть разноплановыми: составление проектов по различной тематике, курсовые работы в лицейском звене, подбор, обработка и сообщение информации, полученной из литературных источников (справочников, энциклопедий, словарей, учебников и т.д.) Подоб-

ные задания предлагаем при подготовке сообщений о жизни и деятельности великих ученых-химиков: М.В.Ломоносова, Д. И. Менделеева, А.М.Бутлерова и т.д., либо предлагаем воспользоваться дополнительными источниками информации (ИКТ) при обосновании значения того или иного вещества в природе, жизни человека, перспективах использования в других областях науки и техники.

Цель активизации путем проблемного обучения состоит в том, чтобы понять уровень усвоения понятий и обучить не отдельным мыслительным операциям в случайном, стихийно складывающемся порядке, а системе умственных действий для решения не стереотипных задач. Эта активность заключается в том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам получил из него новую информацию. Другими словами, это расширение углубление знаний при помощи ранее усвоенных знаний или новое применение прежних знаний. Нового применения прежних знаний не может дать ни учитель, ни книга, она ищется и находится учеником, поставленным в соответствующую ситуацию. Это и есть поисковый метод обучения.

Подлинная активизация учащихся характеризуется самостоятельным поиском не вообще, а путем решения проблем. Если поиск имеет целью решение теоретической, технической, практической учебной проблемы или форм и методов художественного отображения, он превращается в проблемное обучение.

Цель проблемного типа обучения не только усвоение результатов научного познания, системы знаний, но и самого пути процесса получения этих результатов, формирования познавательной самостоятельности ученика и развития его творческих способностей. Так, на основе анализа фактов учащиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, формируют с помощью учителя определенные понятия, законы.

В результате у учащихся вырабатываются навыки умственных операций и действий, навыки переноса знаний, развиваются внимание, воля, творческое воображение.



Григоре ВИЕРУ

Афоризмы

проект осуществляется при поддержке компании Orange



- Воображаемая война хуже реальной, поскольку она бесконечна.
- Если умирает капля росы, будучи такой чистой, то как может не умереть человек?!
- Природа – как дети – шалит иногда. Только она не подлежит наказанию – как они.
- Констатируется, что в число самых несчастных барышень входят те, которые днём красивы, а ночью – глупые.
- Если ты дисциплинирован в борьбе, то будешь таким же и в любви. В остальном можешь ещё и поиграть.
- Оторви башку клеветнику, а она всё равно кинется тебя укусить.
- Когда испытываешь жажду, не спрашиваешь, с каких мест вода.
- Природа живее человека; в тысячу раз живее науки и в миллион раз могущественнее императоров.
- Единственная месть против Человека, которую приемлю, – месть Природы.
- Был бы в состоянии, мертвец из гроба утёрся бы от поцелуев многих.
- Слова являются мне в речи чужой. В речи родной приходят множе-

ство раздумий.

- Море умрёт тогда, когда забудет своё детство родник.
- Существует тактика истинного характера, похожая на тактику гвардии солдата, крови, что питает сердце, и – вращения планет во Вселенной.
- Нахожусь среди людей не оттого, что не смог бы прожить без них, а оттого, что не понимаю речи иных существ.
- Надменность – единственное свойство, которое человек подпитывает, не имея от него никакой пользы.
- Бремя победы и бремя зависти – ноши одинаковые.
- Бог скопил на Земле все красоты Природы и даже на Луне не оставил ни одного дерева, каждый листок которого расцеловали бы глупцы, задумавшие покинуть Землю.
- Достигнешь вершин – и те, что внизу, в нетерпении будут ждать твоего падения или крюком потянут тебя к себе.
- Злорадная шутка – как вещь, закинутая на чужую сорочку.
- Земля принимает всех усопших. Выбирает – небо.
- Будущее человечества не имеет свидетелей, поэтому его невозможно ни прославлять, ни осуждать.
- Если дитя утаивает хлеб, ищите его в ласточкином гнезде.
- Невозможно, чтобы ты добрался до дому, к детям, а счастье оставалось бы позади.
- Благо, если один народ учится у другого, плохо – когда один народ другого поучает.
- «Это Солнце», – говорим детям. И никто не спрашивает: «Почему?»
- Терпение – скрытая гордость.
- Огради, праведник, дабы змея – как соловей – имела крылья!
- Тьма имеет один цвет, свет – тысячу.
- Эхо не может быть сожжённым на костре.
- Жить с людьми во взаимопонимании – обязанность; быть до самой смерти в согласии со своими детьми – благословение Господне.
- У некоторых счастье хрюкает как свинья.
- Заметили, что за птицы оказались в плену у клетки? Самые красивые!
- Есть люди, похожие на кротов: копают, но их не видно. Поэтому они более опасны.
- На войне притвориться мёртвым не можешь, а то поспешно похоронят.
- Змеи и люди (с малой душой) яд на устах всегда носят с собой.
- Заслуга не носит себя на знамени. Знамя несёт заслугу.
- Умение зажечь свечу от пламени розы – и есть Поэзия.
- Нет ничего резвее страха, но наговор, когда пожелает, добирается первым.

- Труд слова в Поэзии – как труд лёгких при зимнем воздухе: вдыхаем жизненную ситуацию морозной и выдыхаем её согретой.
- Самая большая отрада для меня – перед Божеством и Смертью заискивать невозможно.
- Ни одна мать не желает смерти своему сыну – будь он предателем, будь он героем.
- Глупец всё рукоплещет – до завершения молитвы.
- Погладь человека деньгами, и он будет нежиться и похрюкивать как свинья.
- Выучилась денежка во всех школах, и всё равно «эй, ты» говорит отцу.
- Деньги, если пожелают, поддёргивают усы генералу, а он словом не обмолвится.
- Денежка умерла, но до могилы воскресла.
- Постоянно недостает нам денег других.
- В церкви и в школе лишним никто не бывает.
- Двое детей вмещаются на материнских руках; а двум братьям в одной стране не хватает места.
- Паритет мой ниже розы – поскольку не подрезан, как она.
- Поистине существует дух дома – книга.
- Босой ногой нельзя наступать на змеиную голову.
- Дабы не спотыкаться обо что-либо, нужно уметь летать.
- Поэт желает умереть за Родину; мученик – умирает.
- Не всегда родственник может быть и хорошим соседом.
- Если бы небо опустилось на Землю, люди поделили бы его между собой.
- Поэзия – чудо Земли; музыка – чудо Неба.
- Ни одна мать не может знать, чью жизнь укачивает: будущего короля или будущего преступника.
- Никогда более не уставал, чем тогда, когда краснел из-за любимого человека.
- Талант лишь сказал, что помогает мне, но труд мне так помог.
- Не стал бы подрезать язык клеветнику – подрезал бы уши тем, кто его слушает.
- Трава перед бурей склоняется, дуб борется с ней.
- Даже не обладая знаниями, доблесть иногда может заменить тысячу учёных.
- Первой не имеет национальности глупость, затем болезнь, и лишь напоследок – шедевр.
- Профессия – ремень, без которого спадают брюки.
- Цветущему дереву в знамени нет необходимости.
- Поэту необходимо прятать свою корону, прежде чем войти к королю.
- Цвет глаз и характер человека невозможно изменить – они навсегда остаются такими, какими их создала Природа.
- Нет ничего грязнее денег, а их – все целуют.
- Если преподнесешь матери цветок, её ангел-хранитель может спокойно заняться иными делами.
- Бойся мужской слезы.
- Справедливость – как кукушка: все слышим, как она поёт, но вблизи её никто не видел.
- Если восход Солнца застал тебя в труде, значит, ни Солнце, никто другой не смогут занять твоё место.

Перевела Тамара МАРИН-КОРОЛЬ.



Com.

Tiraj 1000 (3500) ex.

Î.S. Firma editorial-poligrafică «Tipografia Centrală»

MD-2068, Chişinău, str. Florilor, 1

Tel. 43-03-60, 49-31-46